КАМАЛА МАРКАНДАЙЯ

ЯРОСТЬ В СЕРДЦЕ



Ярость в сердце
Камала Маркандайя

Аннотация
КАМАЛА МАРКАНДАЙЯ. ЯРОСТЬ В СЕРДЦЕ. РОМАН
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
INFO

Аннотация

Основное действие романа происходит в 1942 году. Этот год резко отделяет прошлое от настоящего и судьбы героев рассекает решительно и бесповоротно. Тема произведения — судьбы личные и судьбы народные в момент исторического поворота, в момент огромного исторического напряжения.



КАМАЛА МАРКАНДАЙЯ
ЯРОСТЬ В СЕРДЦЕ

РОМАН



Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1971

*

Перевод с английского *К. ЧУГУНОВА*

Предисловие *Н. ДЕМУРОВОЙ*

Художник *Л. ПОДДУБОВСКАЯ*

М., Издательство «Художественная литература», 1971





ПРЕДИСЛОВИЕ

Молодой англичанин, приятной наружности, мужественный, без предрассудков, занимающий важный пост в одной из имперских колоний, прекрасная туземка, романтическая страсть, непреодолимые препятствия, неизбежная разлука. Чаще — смерть прекрасной туземки. Иногда — разлука и грустная дымка воспоминаний. На эту тему было написано немало. В основном писали англичане. Еще больше было снято кинофильмов. В основном снимали американцы. Тема приятно щекотала нервы, порой она раскрывалась в трогательном контрасте. Туземцы, дети природы, не имеющие понятия о высшем имперском долге, и полный решимости солдат империи с голубыми глазами и волевым подбородком, кладущий на алтарь отечества мечты о любви и счастье…

Пожалуй, самым известным — печально известным — в этом жанре был роман «Станция Бховани». Его написал Джон Мастерс, маститый английский романист, специалист по «колониальной теме». Роман посвящен Индии. Он был

написан вскоре после провозглашения независимости 1947 года. Немалое место занимали в нем сцены «беспорядков». Тенденциозность их изображения вызвала резкий протест индийцев.

Вспоминается Бомбей осенью 1956 года. Стояла влажная давящая жара, — впрочем, это обычно для Бомбея. «В Бомбее два времени года, — пошутил встречавший нашу делегацию Ходжа Ахмад Аббас, — жаркое и — еще жарче!» Вечерами измученные горожане целыми семьями выбирались на набережную. Подогнув под себя смуглые ноги, они сидели на парапетах и тротуарах, смотрели на море, на сверкающее ожерелье огней, чинно обсуждали свои дела и последние новости. Тут же тихонько играли дети. А на перекрестках сияли рекламы нового американского фильма — «Станция Бховани», и ослепительно улыбалась Ева Гарднер, исполнительница главной роли. Индийцы бойкотировали этот фильм. Он шел в огромном роскошном кинотеатре, где прокатывалась вся американская продукция. Как всегда, реклама задолго предвосхищала появление фильма. Она была поставлена широко — газеты, афиши, фотогра фии, специальные выпуски журналов… Огромные залы пленяли роскошью, сулили отдых от изнуряющей жары. К услугам

зрителей было столько удобств; прохладный кондиционированный воздух, удобные откидные кресла, хорошенькие девушки, бесшумно разносящие прохладительные напитки, а перед началом «основного» фильма — диснеевские короткометражки и великолепные видовые, ленты. Однако, несмотря на все эти приманки, залы стояли пустые. У широких зеркальных дверей кинотеатра не было ни демонстраций, ни пикетов первых дней. Индийцы проходили мимо, не поворачивая головы.

Все это невольно вспомнилось мне, когда я прочитала новый роман Камайы Маркандайи. Не знаю, был ли он прямо задуман, как полемический ответ на «англо-индийский» шаблон, но, безусловно, направлен он именно против него. Полемичность романа чувствуется буквально во всем, вплоть до мельчайших деталей. Основная тяжесть ее — в трактовке героини и, конечно, трагических событиях 1942 года, о которых столько писалось и в индийских и в английских трудах. Продуманно и намеренно отталкиваясь от этого Штампа, Камала Маркандайя рассказывает нам о судьбе своей героини не просто *на фоне* исторических событий» но в прямой и непосредственной *связи* с этими событиями. Судьба

личная становится под ее пером судьбой общей, судьбой исторической, судьбой народа. Тут, вероятно, придется сделать небольшое историческое отступление.

Восьмого августа 1942 года в Бомбее закончилось заседание Всеиндийского комитета конгресса. Заседание проходило в сложной обстановке. Конгрессу предстояло решить вопрос об иностранном господстве в Индии, не забывая при этом об исторической миссии союзников, боровшихся против фашизма, об угрозе вторжения со стороны Японии и о многих других факторах международной и внутренней ситуации# Подавляющим большинством голосов комитет принял решение — призвать страну к «открытому восстанию», с тем чтобы «покончить с иностранным господством в Индии». «Вон из Индии!» — таков был основной смысл этой резолюции. Под этим названием она и вошла в историю индийской национально-освободительной борьбы. В резолюции предусматривалось создание национального правительства, основной функцией которого «будет оборона Индии и сопротивление агрессии всеми вооруженными, а также и мирными силами, находящимися в его распоряжении, вместе с союзными державами». Национальное

правительство должно было полностью нести ответственность за ведение войны и обязывалось после получения независимости оказать свою поддержку военным усилиям союзников. В резолюции указывалось, что конгресс «не стремится ни в коей мере затруднить оборону Китая и России, чья свобода драгоценна и должна быть сохранена, или ослабить обороноспособность Объединенных наций. Пассивность и подчинение чужеземной власти в настоящих условиях не только унижают Индию и ослабляющее способность к самозащите и сопротивлению агрессии, но несовместимы с этой усиливающейся опасностью и не в интересах народов Объединенных наций». Выступивший на заседании комитета Ганди призвал индийцев подхватить «мантру[1] свобода». В кратчайшее время речь его стала известна всей стране..

«Вот мантра, которую я дам вам. Она коротка. Запечатлейте ее в своем сердце, и пусть она звучит в каждом вашем вздохе. Вот она: свершим или умрем! Либо мы освободим Индию — либо погибнем в борьбе. Мы не останемся жить, чтобы спокойно смотреть, как увековечивают наше

---

[1] Примечания: 1
Мантра — молитва, заклинание, завет.

рабство. Каждый истинный конгрессист, будь то мужчина или женщина, вступит в борьбу с неуклонной решимостью не жить, если родина его останется в цепях и в рабстве… Пусть это будет вашим заветом… Тот, кто потеряет жизнь, приобретет ее; тот же, кто постарается жизнь сохранить, ее навсегда потеряет. Свобода — не для трусов и не для слабых сердцем».

«Каранге йа маранге!» (Свершим или умрем!) — эти слова зазвучали по всей Индии. Движение за освобождение Индии вступало в новую фазу. Старые испытанные приемы — бойкот, добровольная сдача в руки полиции, гражданское неповиновение в самых различных формах — конгресс призывал усилить методами «активными», хотя и не насильственными, Конгресс обратился ко всем индийцам, призывая каждого стать активным «сатьяграхи» (то есть активным участником кампании гражданского неповиновения), вне зависимости от класса и сословия, религии и пола. Особая роль предназначалась студентам, преподавателям и профессуре — по сигналу они должны были покинуть учебные заведения и выйти на улицы. Рабочие и крестьяне также должны были оставить работу и включиться в борьбу. На заседании комитета

Ганди заявил, что, если понадобится, он призовет страну к всеобщей забастовке. Однако вопрос о тактике выступления должен был решаться 9 августа, на специальном совещании лидеров конгресса, которое созывал для этой цели Ганди.

Историческое заседание Всеиндийского комитета конгресса закончилось 8 августа 1942 года в 10 часов вечера. В 5 часов утра на Следующий день Ганди, Неру, Патель и все другие лидеры конгресса были арестованы. Движение было практически обезглавлено. В ряде штатов Национальный конгресс был объявлен вне закона. Те из местных руководителей, кому удалось уцелеть, уходили в подполье. Однако остановить события было уже невозможно. Из рук в руки передавался текст короткой записки Ганди, сделанной во время ареста. Она кончалась теми же словами: «Каранге йа маранге!» Записка была переведена на языки различных провинций.

Страна пришла в движение. Мирные забастовки, манифестации, собрания, демонстрации, отказы платить налоги сменились более решительными действиями. Народ штурмовал полицейские участки, отделения связи, английские административные здания. По всей стране пылали банки, суды, тюрьмы, летели под откос

железнодорожные составы. Из городов волнение перекинулось в деревню. Зашевелилась многомиллионная крестьянская масса. Крестьяне срывали замки со складов зерна и продовольствия. Стены алели надписями: «Да здравствует революция!», «Победу Ганди!», «Победу Матери Индии!», «Да здравствует свободная Индия!», «Свершим или умрем!», «Освободим Ганди, не дожидаясь, пока он объявит голодовку!», «Вон из Индии!» В деревнях формировались боевые отряды. Листовки призывали народ к оружию. Зачастую движение принимало радикальный характер, перехлестывая программу, выдвинутую конгрессом.

Колониальные власти ответили массовыми репрессиями. В ход были пущены войска и полиция. Прозвучали выстрелы. Среди убитых и раненых были женщины и дети.

Выступления 1942 года были подавлены. Однако они сыграли свою роль, подготовив освобождение 1947 года. «Героизм, страдания и самопожертвование тех, кто принял участие в борьбе, выше всякой похвалы», — заявил после своего освобождения в 1944 году Ганди. Неру так писал об историческом значении событий 1942 года: «Впервые со времени великого восстания

1857 года огромные массы народа вновь поднялись, чтобы противопоставить силу (но силу без оружия!) английскому господству в Индии». Вместе с тем Неру отмечал слабость восстания и неизбежность его поражения в историческом контексте тех дней, когда «все вооруженные и организованные силы были на стороне противника».

Основное действие романа Камалы Маркандайи происходит в 1942 году. Словно в фокусе, сходятся к этому году все лучи, все линии действия. Этот год резко отделяет прошлое от настоящего и судьбы героев рассекает решительно и бесповоротно. Об этом устами своей героини заявляет Камала Маркандайя на первых же страницах романа. «Мы познакомились, когда война только-только начиналась, а сейчас она уже в прошлом. Борьба, истоков которой мы не знали, захлестнула нас и отшвырнула друг от друга», — вспоминает Мира, пытаясь разобраться в том, что произошло, понять свою роль в потоке событий, свое место в них. Так строится этот роман. Ностальгический рассказ о любви, попытка понять причины ее крушения, причины, которые с самого начала заявлены как причины исторические и неличные. Уже не прекрасная туземка

грустит о неверном возлюбленном, а женщина, купившая душевную зрелость дорогой ценой самоотречения, вглядывается в прошлое, мучительно стараясь понять его, доискаться истины.

Каждый из героев Камалы Маркандайи занимает свое место в трагедии 1942 года. Это место определено их рождением, воспитанием, семейными взглядами и традициями, всем окружением и средой. Лишь одна Мира отказывается от той роли, которая предназначалась ей семьей, и уходит из дома. Уход Миры, однако, не просто личная эмансипация, хотя, безусловно, и это немаловажно, не просто нарушение семейной традиции. Это вызов тому образу жизни, тому общественному слою, к которому она принадлежит по рождению. Слой этот долгое время был известен под названием «англо-индийцев». Под этим странным термином понимали обычно те слои индийских обеспеченных классов, которые не только хранили верность колониальным властям, но и старались во всем на них походить. Они усваивали язык англичан, их взгляды, обычаи, манеры. Не без горечи описывает Мира дом своих родителей, как бы застывший на полпути между двумя мирами — английским и индийским. Гостиная, в которой стоит европейская мебель и гипсовый

бюст королевы Виктории, соседствует с другими комнатами, обставленными в национальном стиле. Две столовые, две кухни, два повара, две категории слуг, одни — умеющие обслуживать индийцев, другие — европейцев, которые нередко этот дом посещают. В самом повседневном существовании семьи — та же двойственность, половинчатость. С одной стороны — соблюдение индийских обрядов и обычаев, браки, устраиваемые по гороскопу, вегетарианство, дом, полный бедных родственников и приживалов, с другой — членство в английском клубе, теннис, бридж, балы у губернатора, сыновья, получающие образование в Англии, где они приучались смотреть свысока на все неанглийское, неевропейское. Из этого класса «англо-индийцев» выходили самые верные слуги империи. Их внешняя двойственность и половинчатость оборачивалась на деле самой искренней преданностью английскому образу мыслей и правлению.

Воспитание, которое получила в этом доме Мира, должно было сделать ее верной представительницей «англо-индийского» среднего класса. И то, что этого не произошло, объясняется в первую очередь чистой случайностью. Благодаря своему брату Киту, вернувшемуся из Англии, где

он готовился к роли чиновника в английском колониальном аппарате, она познакомилась с Ричардом. Встреча эта заставляет ее на многое взглянуть другими глазами, хотя сама по себе и не подрывает, казалось бы, никаких основ.

Что за человек Ричард, читателю решить не так-то просто. Мы смотрим на него всегда глазами Миры, и этот прием исключает возможность своей, чисто объективной оценки. Кое-что, однако, мы все-таки о нем узнаем. Мы узнаем, что это человек любознательный, человек, искренне интересующийся страной, в которую его забросила судьба, человек, не считающий, для себя зазорным общение и дружбу с «туземцами». Гостя в семействе Миры, он неизменно проявляет такт и внимание ко всем обитателям дома, и кажется несомненным, что тут нет никакой игры, что поведение его диктуется искренним уважением к стране и гостеприимным хозяевам. Его отношение к Мире также представляется безупречным. И снова — тут нет, по-видимому, никаких вторых планов, он искренен и открыт. В нем нет, казалось бы, ничего от белого «сагиба», снисходящего до «бедных туземцев». И все же… Все же… Ричард так и не переступает черты, определенной его происхождением и постом. Блистательный

личный адъютант губернатора, он ни на йоту не отходит от своего официального долга, ни в чем не нарушает своей верности империи. Вдумываясь в этот характер, понимаешь, как много в нем недосказанного, противоречивого. Увы! Читателю приходится довольствоваться тем, что автор считает для него достаточным и необходимым.

С самого начала их знакомства Ричард сыграл в жизни Миры весьма важную роль: он заставил ее посмотреть на собственную жизнь как бы со стороны. И то, что раньше представлялось привычным и само собой разумеющимся, вдруг предстало перед ней в своем истинном свете. Дальнейшие события дали богатую пищу для развития и подтверждения этого нового взгляда на вещи, но первый толчок, — хотел он того или нет, — дал Ричард. Так бывает, когда в дом входит гость, и внезапно взгляд приобретает какую-то особую остроту. Не важно, что видит и чего не видит пришелец, но ты-то вдруг с неожиданной ясностью понимаешь, что по углам прячется паутина, что на потолке расползлись безобразные пятна сырости, что занавеси не первой свежести, двери скрипят и весь дом — недавно еще такой обжитой и уютный — нуждается в капитальном ремонте. Это и произошло с Мирой.

Широко раскрытыми глазами смотрит Мира вокруг себя, пытаясь понять, что происходит, на чьей стороне правда и справедливость. Она искренне любит и уважает своих родителей, но очень скоро ей становится ясно, насколько узко и замкнуто их существование. Она покидает родной дом. Перед ней огромный и сложный мир. Ее братья, ее друзья — каждый выбирает себе свой путь, разительно непохожий на остальные. Мира смотрит, расспрашивает, размышляет…

Вот ее родной брат Кит. Он получил образование в Англии, он занимает один из высших постов в государственном аппарате, он окружной судья. Он свой человек в английском клубе, знает все неписаные законы английского и англо-индийского круга, он давно уже стал органической частью этой жизни. Жизнь его строго размерена и регламентирована, сомнения не мучат его, он твердо знает ответы на все вопросы…

А вот ее приемный брат Говинд, который ей дорог и близок не меньше, чем Кит. Он появился в их доме за год до рождения Миры, она выросла вместе с ним — он ведь не уезжал, подобно Киту, в Англию. Для него законы и обычаи круга, к которому принадлежит Кит, — продукт чужой культуры, которую он не принимает. Пересажен-

ная на новую почву, она искажается; оторванная от привычной среды, перестает быть подлинной. Говинд отвергает всякое общение с Западом. Едва закончив колледж, он решительно порвал с тем кругом, в котором вырос. Угрюмый и замкнутый, он исчез из поля зрения Миры, и лишь много времени спустя она узнала о том, чем он занят. Отказавшись от карьеры и благополучия, которое сулило ему воспитание и самая принадлежность к англо-индийскому классу, он вступил в партию Национальный конгресс и отдал все свои силы организации кампаний гражданского неповиновения. В конгрессе он занял крайне левую позицию. Он принимает насилие, как важную составную часть борьбы за независимость, он не останавливается ни перед чем для достижения своей цели. За ним охотится полиция, самая жизнь его в опасности, но он продолжает свою деятельность…

А вот Рошан Мерчент, молодая журналистка, дочь состоятельных родителей, тоже вступившая в партию независимости и отказавшаяся от того круга, к которому она принадлежит по рождению. Она не заходит так далеко, как Говинд, насилие ее пугает, но она помогает Говинду и добровольно идет в тюрьму, чтобы придать боль-

ший вес своим убеждениям. Она не отвергает Запада, но и не предает Востока, она стремится к некоему культурному синтезу этих миров. Роль ее в воспитании Миры огромна — не только потому, что она берет Миру к себе в газету, где та проходит настоящую школу, но и потому, что она обладает удивительным даром — прямо и просто смотреть на вещи и не бояться называть их своими именами.

Так перед Мирой открывается несколько путей. Путь брата Кита, безоговорочно отождествляющего себя с государственно-колониальной машиной… Путь брата Говинда, стоящего за насильственное разрушение этой машины… Путь Рошан, верящей, что машина может быть уничтожена ненасильственным образом, с помощью «сатьяграхи» — гражданского неповиновения… Но это еще не все. Есть еще Хики и Премала, люди бесконечной доброты и скромности, старающиеся незаметно помогать беднякам. И тот и другая — глубоко религиозны, правда, Хики — христианин, а Премала — индуистка, но это не мешает им понимать друг друга. Все свои силы они отдают деревенской школе. Они хотят накормить голодных и пригреть обездоленных. Личные их качеству выше всякой похвалы. Доброта — Сколь

многого может она достичь в жизни?

Над всеми этими — и многими другими вопросами — размышляет Мира, решая, какой путь ей выбрать. Впрочем, — она не только размышляет. Свобода чувства для нее не менее важна, чем свобода мысли. Чувство к Ричарду, первое молодое горячее чувство, захлестывает ее, и она верит, что, несмотря на противодействие родителей, несмотря на все трудности и препятствия, они будут вместе. С горячностью молодости она верит в то, что любовь одолеет все преграды. Война мировая, война гражданская — все это, кажется ей, должно отступить перед любовью. Она полагает, что нет ничего выше законов сердца.

Однако действительность оказывается гораздо суровее и проще, чем представляется ее романтическому воображению. В огне пожара, разожженного Говиндом и его людьми, гибнет — помимо его воли и желания — Премала, которую он любил все эти годы. Эпизод этот мог бы показаться мелодраматичным, если бы не обладал глубоким внутренним смыслом. Каковы бы ни были личные намерения участников событий, история неумолимо идет своим путем.

Это прекрасно понимает Ричард. Спустившись с гор, где они провели отпуск, в охваченный

восстанием город, он мягко возражает взволнованной Мире: «Ты действительно считаешь, что ко всем можно подходить по-разному? К каждому с отдельной меркой? В наше время? После того, что сегодня случилось?» И хоть Мира и сопротивляется изо всех сил, потому что она понимает, чем это грозит ей и ее любви, все же ей приходится признать: «Конечно, нет. На это никому не хватает ни терпения, ни мужества, ни времени. Либо на этой стороне, либо на той. Совсем просто, даже ребенок поймет». Мысли ее полны горечи, она не хочет соглашаться с этим суровым законом: «А что посередине? Да ничего! Ты показываешь свой значок и занимаешь место либо справа, либо слева. Середины нет. У тебя нет значка? Его заменит твое лицо, цвет твоей кожи, твое произношение, твоя одежда. Ты не просила, чтобы тебя куда-нибудь зачисляли? У тебя нет выбора и нет другого места. Но ведь человек — сам себе хозяин, он может…» Мысли ее обрываются. Она не может продолжать. Окончательный ответ на вопрос о том, насколько человек сам себе хозяин и насколько он свободен в своих решениях и поступках, Мира получает во время процесса над Говиндом.

Это была пора, когда движение достигло своей

наивысшей точки. Народные массы врывались в английские суды, надевали на судей национальные шапочки, конгресса, поднимали над зданием национальный индийский флаг вместо английского «Юнион Джека», иногда сжигали дела, вынося собственные приговоры. Сцена суда в романе Камалы Маркандайи менее всего напоминает романтический вымысел. Она написана в точном соответствии с исторической правдой. Она почти стенографически точна. Народные толпы, ворвавшиеся в здание суда, чтобы провозгласить Говинда невиновным в убийстве, — не авторское преувеличение и не художественный прием, долженствующий символизировать силу народных масс. Такое происходило в те годы по всей Индии, и Мира прекрасно понимала весь смысл происходящего. «Мы долго пили из кубка счастья, — проносится у в голове. — Пора поставить его и уйти». Все ее существо восставало против этого: *«Уйти?* Оставить любимого и уйти с этими людьми? Что они для меня значат, что могут значить по сравнению с тем, кого я люблю? Но они мои, эти люди. А у Ричарда — свои. Стало быть, слова «твой и «мой народ» все же кое-что значат?.. Я поняла, что уйду, хотя Ричард останется. Другого выхода у нас нет, силы, тянущие нас в

разные стороны, необоримы… Снаружи поднялся ветер. Рыжеватая пыль, взвихренная тысячью ног, ворвалась в зал суда, и я наконец тронулась в путь».

Выше уже говорилось о том, насколько полемичен этот роман. Он отталкивается от колониального стандарта буквально во всем, и в большом и в малом. «Прекрасная туземка», по непреложному канону, должна быть хороша собой, должна грустить, оплакивая неверного возлюбленного, должна ничего не понимать в политике, должна быть готова во всем слепо следовать за своим избранником. Из всех этих необходимых и обязательных для канонической «туземки» атрибутов Мира не обладает практически ни одним. Кое-какие косвенные свидетельства заставляют нас предположить, что она не вовсе безобразна, но где, скажите, обязательная в таких случаях нега в глазах, где роскошные волосы, упругие формы и прочие добродетели? Откуда это прискорбное увлечение политикой, эта дружба с людьми подозрительными и неблагонадежными, эта неженская тяга к свободе? И, наконец, уже вовсе недопустимо — почему это она сама принимает решения? Почему — вместо того, чтобы спокойно подождать, пока ее принесут в жертву на алтарь

империи, она сама начинает заниматься жертвоприношениями? Она должна тихо и покорно ждать, а не отказываться от своего женского счастья во имя какой-то высшей справедливости! Такими словами мог бы выразить свое негодование какой-нибудь любитель канонического шаблона, и был бы, разумеется, прав — со своей каноническо-шаблонной точки зрения. Он многим мог бы еще возмущаться — трактовкой народа в романе Камалы Маркандайи, тем, как она изображает исторические события, самим духом суровой правды, которой дышит ее роман. Но оставим в покое нашего канонического критика — пора бы ему уже привыкнуть к тому, что в индийской литературе все чаще и чаще появляются произведения весьма далекие от его шаблона.

Несомненной заслугой Камалы Маркандайи в ее романе является то, что здесь она — впервые для своего творчества — выходит на широкие просторы исторического повествования. Советский читатель знаком с ее лучшими произведениями: «Нектар в решете» повествует о горькой судьбе индийского крестьянина в колониальной. Индий, другой ее роман — «Алчность» — посвящен судьбе национального художника, ищущего себя и свою национальную тему. «Ярость в сердце»

берет тему совершенно новую — судьбы личные и судьбы народные в момент исторического поворота, в момент огромного исторического напряжения. Общая трактовка этой сложной темы — несомненная удача. Немалую роль здесь сыграл личный опыт писательницы. Уроженка юга Индии, она много лет провела в деревне и хорошо знала крестьянскую жизнь.

В трактовке центрального эпизода пожара и убийства Кита Камала Маркандайя применяет прием, усиливающий напряженность описываемых событий. Все, что происходит, описывается, как, впрочем, на всем протяжении романа, через восприятие Миры. Она не видит — или не хочет видеть? — кто бросил нож, убивший — ее брата Кита. Она лишь добросовестно регистрирует события: крик, свой бросок, руки Говинда, которые она плотно прижала к себе, так, чтобы бы он не мог — не мог! — стать братоубийцей, упавшее тело Кита, его последние слова. Все это рассказано добросовестно, точно, с той точностью, какая бывает в ночных кошмарах. Потом она не раз повторяет свой рассказ Ричарду, матери, следователю. Она как бы силится для самой себя уяснить, что же случилось, кто убил ее брата Кита, кому это было нужно и почему Хики обвиняет в этом

Говинда. «Невиновен!» — говорит она, стараясь уйти от собственных подозрений. И тут же спрашивает себя: «Полно, действительно ли Невиновен?» Камала Маркандайя отвечает на этот вопрос лишь в общем, историческом плане: народ, ворвавшийся в здание суда и освободивший Говинда, провозглашает его невиновным перед лицом английского правосудия. Однако о том, что действительно произошло в ту «безумную ночь», автор предоставляет читателю догадываться самому. У него в руках все свидетельские показания — установить окончательную истину он должен сам.

«Ярость в сердце» — несомненная удача Камалы Маркандайи, тонкого, и умного художника.

Н. Демурова



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Меня так долго не было дома, что я совсем забыла про серебряную шкатулку, лежавшую в моем шкафу, к которому за все это время никто не прикоснулся. Это была изящная филигранная вещица с барельефным изображением лотосов. Цветы, правда, почти стерлись, но я прощупывала их кончиками пальцев.

Я открыла шкатулку: в ней лежал лоскуток от рукава Ричарда. До сих пор помню молочно-белую кожу на его обнажившемся плече. Лоскуток этот я подобрала в пыли, когда все кончилось. Пыль так на нем и осталась, да и куда ей было деться? Но эта пыль уже не крутилась, как в тот день, горячим рыжеватым облачком; скрытая от солнца и ветра, она покоилась теперь на ткани тусклым сероватым налетом.

Я задрожала от страха, предчувствуя боль, и боль пришла. Она медленно поползла вверх, к горлу, потом к вискам, и залегла где-то в глубине глаз. Я тихо закрыла шкатулку, положила ее на место и стала ждать, когда боль отхлынет. Мне было немного жутко от сознания того, что

время оказалось бессильным исцелить меня от страданий.

Мы познакомились, когда война только-только начиналась, а сейчас она уже в прошлом. Борьба, истоков которой мы не знали, захлестнула нас и отшвырнула друг от друга, и лучше всего — забыть о ней. «После того как это кончится, — сказала я ему, с трудом шевеля онемевшими губами, — после того как это кончится, мы останемся друзьями». «Конечно, милая», — ласково ответил он и привлек меня к себе; но в его объятии не чувствовалось страсти, только сочувствие. Ни ему, ни мне не надо было объяснять, что слова мои — наивный лепет; сказаны они были в порыве отчаяния и не имели для нас обоих никакого значения.

Когда мы впервые встретились, я была так смущена, что боялась поднять на него глаза. Лишь после того, как кто-то подтолкнул меня, я робко шагнула вперед и повесила ему на шею гирлянду цветов.

Гирлянда эта предназначалась для моего брата, возвратившегося из Англии, но предпочтение всегда приходится отдавать гостям, даже если они англичане и даже если их не приглашали. По-видимому, и он не ожидал такого приема.

На перроне толпилась уйма народу: родители, тетки, дяди, знакомые. И у всех в руках были гирлянды. Позади стояли полукругом улыбающиеся слуги, нагруженные гроздьями бананов и чашами с розовой водой, за слугами — услужливые пеоны, подпоясанные зелеными поясами с медными пряжками. Они расталкивали зевак и пассажиров с таким видом, как будто перрон предназначался только для нас.

Брат, видимо, забыл сказать ему, что на вокзале их ждет такая встреча, и уж, конечно, забыл предупредить нас о том, что с ним едет англичанин, присутствие которого ввело нас всех в смущение.

Одернув на себе пиджак, смявшийся под тяжестью гирлянд, и смахнув опавшие лепестки, брат стал знакомить нас со своим приятелем: сначала представил его отцу, потом матери, потом дядям и, наконец, устав от этой формальности, — сразу всем остальным.

— Мы плыли на одном пароходе, — сказал он с напускной непринужденностью, — и я уговорил Ричарда отведать настоящего кари[2]. Тот, которым нас пичкали на пароходе, был отвра-

[2] Примечания: 2

Кари — индийское блюдо, обильно сдобренное специей, называющейся кари.

тителен.

Мы, было, подумали, что он пригласил Ричарда на обед или на ужин. Но Ричард уточнил?

— Кит был настолько добр, что предложил мне погостить у вас одну-две недели. Разумеется, если…

— Конечно, конечно, — поспешно прервал его отец. — Мы будем только рады. Вы нас совсем не обремените.

Он сказал эти слова с таким видом, словно и вправду был рад. Что касается мамы, не столь искушенной в дипломатических тонкостях, то она хорошо понимала, что заботы об устройстве иностранца в нашем доме лягут прежде всего на нее, и не могла скрыть некоторой растерянности. Смущение родственников было еще более явным. Ричард стоял в нерешительности. Он сделал бессознательный жест, по которому я догадалась, что он ищет выхода из неловкого положения. При виде этого человека, оказавшегося среди чужих людей, столь не похожего на нас, столь одинокого в нашем темном семейном кругу, мне стало стыдно. Неужели мы не способны на большее, чем этот убогий прием? Преодолев робость и забыв о присутствии старших родственников, я повторила слова отца:

— Мы будем только рады.

Тотчас я почувствовала на себе неодобрительные взгляды старших. Конечно же, они удивились такой развязности. Признаться, я и сама была удивлена; но к этому чувству примешивалось удовлетворение, и я не раскаивалась. Ричард же не проявил никакого удивления. Наверно, он и смотрел-то на меня не как на взрослую. Он любезно поблагодарил меня, приятно улыбнулся, как улыбаются детям, — и это было все. Никаких других знаков внимания.

После этого мы направились наконец к автомашинам, ожидавшим нас на привокзальной площади. Пеоны усердно расчищали нам дорогу. Шествие возглавлял отец. По обеим сторонам от него шли Кит и Ричард, за ними следовали мама и дяди, а позади — все остальные.

Кит повеселел. Присутствие Ричарда, видимо, ослабляло напряженность встречи с близкими после столь долгой разлуки. Он рассказал нам какую-то историю, случившуюся в таможне, потом стал вспоминать плавание.

— В Адене мы сошли на берег целой группой. А этот вот самонадеянный человек предпочел отправиться в одиночку… На пароход он возвратился с карманными часами — десять шиллингов

за них отдал. На вид — красивая вещь, прочная, увесистая. Но посмотрели бы вы на выражение его лица, когда он попробовал эти часы завести. Оказалось, они без механизма — внутри лежал кусок свинца. — Кит захохотал. Отец тоже рассмеялся. Мама улыбалась, но не столько потому, что ее рассмешил рассказ Кита, который она, по-моему, плохо поняла из-за быстроты его речи и непривычного произношения, сколько потому, что радовалась по поводу возвращения родного сына — старшего из детей — и наследника.

— А он хорошо выглядит, — шепнула мне мама. — Морской воздух пошел ему на пользу. — И с гордостью, которую в иных условиях не стала бы выказывать, добавила: — Я совсем забыла, какой он у нас красивый.

Несмотря на свою беззаботность, я вдруг поняла, что значила для матери разлука с сыном. Но через миг я снова облачилась в прежние доспехи, надежно оберегавшие меня от сентиментальности.

— Разумеется, красив, он ведь очень похож на тебя, — вежливо подтвердила я. Но хотя в это время я смотрела на смуглое, хорошо знакомое мне лицо брата, унаследовавшего от наших общих предков многие черты сходства со мной, мысля-

ми своими я была с Ричардом, так не похожим ни на кого из нас.

Между тем слуги укладывали в автомобиль гостинцы, которые за час до этого выгрузили: фрукты, цветы, листья бетеля, головки сахара, половинки кокосовых орехов. Все это добро символизировало наше гостеприимство. Оно сослужило свою службу, и теперь его свалят в комнату для прислуги, где начнется дележ.

Пока слуги работали, мы стояли под сенью небольшой арековой пальмы. Мама внимательно следила, чтобы ничего не было забыто. День был ослепительно яркий и душный. Несмотря на сравнительно ранний час, над землей струились волны нагретого воздуха. Брат, одетый в европейский костюм, в рубашку с крахмальным воротничком, коричневые полуботинки и шляпу с загнутыми полями, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, Безобразные темные пятна, видневшиеся у него под мышками, расплывались все больше и больше.

— Бедный Китсами, — сказала мама. Она всегда называла его полным именем, звучавшим в ее устах очень мило и естественно, а не уменьшительным «Кит», которым называли его мы и которое предпочитал он сам. — Бедный Китсами.

Как ему жарко! Ему придется ко многому привыкать заново.

— Всем жарко, — сказал отец и, обращаясь к Ричарду, добавил: — Вообще-то летом мы редко здесь живем. Обычно уезжаем в горы… там гораздо прохладнее и здоровее.

— Ничего удивительного, — отозвался Ричард. — Жара в самом деле ужасная.

Но сам он, по всей видимости, не страдал от жары. Он стоял прямо под солнцем, в стороне от пальмы, с непокрытой головой. Его лицо и шея покраснели, но он продолжал там стоять, пока мама не обратила на него внимания. Она тут же заставила его спрятаться в тени, сделав то, что почему-то не пришло в голову никому из нас.

Наконец все вещи были уложены, пассажиры — распределены по машинам. Дальние родственники уже отправились в путь пешком. Отец занял место шофера, хотя и не любил сидеть за рулем, а сам шофер, который терпеть не мог ходить пешком, пристроился на подножке, держась рукой за дверцу. Мама села рядом с отцом; а Ричард, Кит и я — сзади.

Уже трогаясь с места, мы вдруг увидели священнослужителя-брахмана, с важным видом пробиравшегося сквозь толпу зевак. Он опоздал

к прибытию поезда, а мы решили, что он вообще не придет. Не так легко было найти священнослужителя, который согласился бы ехать на вокзал, чтобы благословить путешественника, возвратившегося из-за моря.

Значит, придется всем вылезать из автомобиля и стоять, пока не благословят Кита; и хотя мы понимали, что будет лучше, если Киту скажут слова напутствия перед вступлением в новую жизнь, эта задержка вызывала досаду. Не будь с нами Ричарда, кто знает, может быть, Кит и не проявил бы особого недовольства, а тут стал жаловаться: зачем развели эту канитель? Слова его были обращены к Ричарду, но говорил он достаточно громко. К тому же и лицо его выражало явное нетерпение, словно он считал себя выше всего этого и лишь удивлялся, что мы рассуждаем иначе. Видя это, родители старались всячески задобрить брахмана, хотя, по-моему, обижаться ему было не на что.

Что касается Ричарда, то его как будто не трогали наши переживания. Он с интересом наблюдал церемонию благословения. Я вдруг пришла в ярость, меня бесил вид этого назойливого незнакомца, который внес разлад в нашу семью и с бесстыдством туриста глазел на наш религиоз-

ный обряд. В ту же минуту я ощутила на себе его взгляд. Ричард смотрел на меня так пристально, что я невольно подняла глаза. Когда наши взгляды наконец встретились, я поняла, что он отнюдь не лишен наблюдательности.

К приезду брата у нас готовились несколько недель: на втором этаже открыли пустовавшие все эти годы комнаты, выходящие окнами в сад, сняли чехлы, до блеска натерли полы, завесили окна новыми соломенными шторами. Обрызнутые водой, благоухающие, шторы создавали мягкий полумрак. А в ванной комнате торжественно водрузили белую эмалированную ванну — единственную в доме, — специально выписанную из Бомбея. Теперь из-за этой самой ванны помещение, предназначавшееся Киту, отдали Ричарду. Правила гостеприимства требовали, чтобы англичанин имел то, к чему привык; Кит же, хотя не утратил еще английского лоска, мог помыться и под душем. Что делать, пришлось отвести Киту другие покои, и расстроенная мама скрепя сердце принялась устраивать гостя в комнатах, которые с такой тщательностью готовила для сына. А пока суд да дело, Кит объявил, что Ричард хочет прогуляться, и они отправились в город; Кит в своем щегольском европейском

костюме, а Ричард — в рубашке с засученными рукавами (в той самой, в которой приехал), в вешти[3] и в сандалиях. И то и другое он выпросил (какое неприличие!) у одного из слуг.

— Этому англичанину еще многому надо поучиться, — заметил отец. — Не думаю, чтоб его соотечественники одобрили такое пренебрежение правилами хорошего тона.

— Ничего, научится, — сухо сказала мама. — Учителя найдутся. Ему пока что все здесь в диковинку.

— И все же, — не успокаивался отец, — мне бы не хотелось выслушивать потом упреки, что вот, мол, толкают человека на странные поступки, пользуясь его неопытностью. Англичане консервативны, а он здесь новичок, к тому же поселился в нашем доме…

— Он сам верховодит, — вмешалась я. — Кит тут ни при чем. И, кроме того, нет ничего плохого в том, что он так оделся в жару, хотя для этого ему и пришлось прибегнуть к помощи слуги.

Это была вторая дерзость, допущенная мною в тот день. Родители с удивлением смотрели на меня и молчали. Но зато заговорил Говинд. Говинд

---

[3] Примечания: 3

Вешти — национальная южноиндийская одежда, кусок ткани, оберты-ваемой вокруг бедер *(тамильск.).*

— наш дальний родственник и мой приемный брат. Родителей он потерял еще в раннем детстве. Моя мама ухаживала за ним несколько недель после их смерти и так к нему привязалась что в конце концов усыновила, а это вполне устроило era дядей и теток, у которых детей и без того было предостаточно. Говинд был молчалив по натуре. В детстве он почти никогда не плакал, а когда вырос, то стал очень неразговорчив; не помню, чтобы он когда-нибудь высказывал собственное мнение. А тут он вдруг обронил:

— Она права, я согласен. — И густо покраснел: видимо, сказать эти слова стоило ему больших усилий. Понурив голову, он угрюмо разглядывал свои ногти.

Было уже начало второго, когда Кит и Ричард вернулись с прогулки. Мы ждали их в гостиной, которая служила только для приема европейцев. Обставлена она была в европейском стиле: на мраморном полу лежал эксминстерский[4] ковер, а вдоль стен выстроились два дивана и с полдюжины плюшевых кресел, столь же неудобных для сидения, сколь и непривлекательных на вид. Посредине стоял стол с откидной крышкой, по-

[4] Примечания: 4

Эксмиистер — местечко в Англии, где изготовляли знаменитые ковры (теперь их изготовляют в Уилтоне).

крытый дорожкой, а на нем — стеклянная ваза, обычно пустая, а на этот раз — полная цветов. На стенах висели унылые пейзажные картины неизвестных живописцев в золоченых рамах, а в углу на жардиньерке стояло сомнительное украшение — гипсовый бюст королевы Виктории.

Мы предпочли бы ждать их в той более уютной и обжитой комнате, где обычно собиралась семья, но там стояли не стулья, а низкие кушетки, на которых можно сидеть, только, поджав под себя ноги, а для Ричарда это было бы затруднительно. Мы чинно восседали в креслах с высокими спинками, вперив взоры в стенные часы и прислушиваясь к их неторопливому размеренному тиканью. Нить нашей беседы становилась все тоньше и тоньше, пока не оборвалась совсем.

Но вот наконец и они — разгоряченные, порозовевшие, бодрые, — и мы снова ожили.

— Где только мы не были, — сказал Кит, плюхаясь на диван и отчаянно обмахиваясь веером. — Этот Ричард— просто сумасшедший. Больше я с ним никогда не пойду.

— Надеюсь, мы не заставили вас ждать, — извинился Ричард. — Кажется, я потерял счет времени.

— Нет, нет, мой дорогой, мы вас еще не жда-

ли, — разуверил его отец. Это было правдой; слуги в суматохе даже не успели приготовить обед. — Но не слишком ли вы увлекаетесь? Вид у вас довольно усталый.

— Вы должны быть осторожны, — медленно выговорила по-английски мама. — Нехорошо, если вы в первый же день заболеете.

Ричард улыбнулся.

— Обещаю быть осторожным… с завтрашнего дня.

Я посмотрела на его рослую (он был выше всех нас), пышущую здоровьем фигуру и с некоторой иронией подумала, что уж ему-то вряд ли стоит беспокоиться о своем здоровье. Ричард перехватил мой взгляд, в его веселых глазах я прочла скрытую усмешку и смущенно отвернулась.

— Выпить бы сейчас пива! — вдруг сказал Кит, развалившись на набитом конским волосом диване. — Нет ничего лучше пива — холодного, прямо со льда. Ты тоже не отказался бы, Ричард?

Но пива в доме не было. Его и вообще-то никогда не покупали, если только не ждали европейцев. Пришлось спешно посылать пеона в клубный бар, до которого было добрых две мили. Пеон повесил на руль велосипеда корзину и неохотно отправился в путь под палящим солнцем.

Пиво, которое он привез, оказалось не только не охлажденным, но даже горячим. Остудить его можно было только одним способом — с помощью кусочков льда. Увидев в стакане, под пеной, лед, положенный щедрой рукой слуги, Кит поморщился.

— Какая-то бурда, а не пиво, — криво усмехнулся он и добавил полушутя: — Вот, Ричард, что значит жить в глуши.

Жить в глуши! Я никогда не считала, что мы живем в глуши, да и теперь не считаю. Но Кит провел много лет в Англии, он говорил о Лондоне, как о хорошо знакомом ему городе, и мне было понятно, почему он так думает. Блеск и великолепие столицы другого мира ослепляли его, вот почему наш родной город казался ему обыкновенным захолустьем.

— Кругом такая красота, а ты думаешь о пиве, — пристыдил его Ричард. — Здесь столько развлечений. — Он тоже говорил шутя, и трудно было понять, насколько искренни его слова.

— Он говорит о цветущих деревьях! — пояснил Кит. — Таких, как золотой могур[5]. Они обычно восхищают всех иностранцев.

---

[5] Примечания: 5

Золотой могур — дерево, цветущее розоватыми цветами.

Кит, очевидно, ожидал возражения, но напрасно. Ричард немного покраснел, но голос его звучал спокойно.

— Естественно, они меня восхищают. Я ведь никогда не видел гигантских цветущих деревьев. Самое похожее на них, что я могу вспомнить, буковые деревья, но они не так… поразительны.

Возражение последовало от Говинда. С трудом подыскивая слова, он сказал:

— Не только иностранцев. Местных жителей они тоже восхищают.

Не знаю приему— может быть, именно потому, что высказывался он так редко и с таким трудом подбирал слова, — но эти простые фразы прозвучали с какой-то особой выразительностью. Наступило неловкое молчание. Но тут в разговор вступила мама, спокойная, хладнокровная, полная решимости не допустить никакой неловкости. Золотой могур? Да, он чудесен, особенно в это время года. А видел ли Ричард лесное пламя?[6] Многие считают, что все они одинаковы, между тем имеется много разновидностей… Она принялась подробно, неторопливо объяснять различия между видами, и все мы как-то успоко-

---

[6] Примечания: 6

Лесное пламя — кустарник с ярко-алыми цветами.

ились. В это время наконец объявили, что обед подан.

Этот первый после возвращения Кита обед был, конечно, праздничным. Длинные узкие столы ломились от множества разнообразных яств. Ради такого случая подали серебряные приборы, высокие кашмирские стаканы с золотыми ободками, жадеитовые чаши с розовой водой и особенно восхищавшие меня низенькие эбеновые подставки, окантованные розеттами.

Кит был явно доволен и даже удивлен: очевидно, за время долгого отсутствия он забыл, как выглядит наш праздничный стол.

— Милая ма! — воскликнул он, ласково обнимая мать. Я вспомнила, что он и прежде, когда бывал в духе, употреблял это уменьшительное «ма». — Да это настоящее пиршество!

— Пустяки, — улыбнулась она и посмотрела на сына бархатистыми глазами. — Для тебя, сынок, ничего не жалко. — Я знала, что, будь мы одни, она добавила бы: «Твои родители не нищие».

— Я так долго ждал этой минуты… Ведь я очень соскучился по нашей пище… Только сейчас понял, как мне ее не хватало.

Слушая его, я почему-то испытывала чувство неловкости. Мне казалось, будто эти слова вы-

рвались у него под влиянием порыва, о котором он, как человек самолюбивый, будет потом сожалеть.

Но мои родители, дяди, даже Говинд, смотрели на Кита с одобрением и удовлетворением. Похвальные чувства для молодого человека, возвратившегося из дальних странствий, к тому же такого европеизированного, как Китсами! И тем лучше, если эти чувства выражаются открыто, да еще в присутствии англичанина.

— Но об этом ты ни разу не писал, — заметил отец. — Иначе…

— Что бы ты сделал? — засмеялся Кит. — Послал бы мне повара?.. Посылку?.. Маму?

— Гостинцы мать посылала тебе много раз, но они почти всегда возвращались обратно.

— Ну, это дело такое… Таможня… — невнятно пробормотал Кит. — Таможенники ничего не пропускают. Это и Ричард может подтвердить.

Ричард кивнул:

— Верно. Таможенники — люди придирчивые.

Я представила себе недоверчивых таможенных чиновников: вот они вскрывают ящики, изучают их содержимое, принюхиваются к соленьям, маринадам и разным специям и, ничего не поняв, озадаченные, возможно, и сбитые с толку, ставят

на них клеймо: «Вернуть отправителю». Тогда я еще не подозревала, что возвращать посылки мог и сам Китсами, не желавший платить пошлину.

Старший дядя решил, что пора сказать свое веское слово.

— Эх-хе-хе. В гостях хорошо, а дома лучше. — Обращаясь к Ричарду, он спросил — Что вы на это скажете, сэр?

Этот дядя, когда разговаривал по-английски, выражал свои мысли как-то странно.

— Аминь, — ответил Ричард.

Такая манера парировать трудные вопросы показалась мне остроумной, хотя и необычной, и я решила взять ее на вооружение.

— Банальная пословица, дядя. — Кит выглядел слегка раздраженным. — К тому же не очень кстати приведенная.

Резкая нотка, прозвучавшая в его голосе, могла бы смутить многих, но только не дядю. Привыкший к почтительному обращению, равнодушный к обидам других, он совсем не собирался сдаваться.

— Пусть банальная, зато верная, — сказал он не допускающим возражений тоном. — Чем дольше я живу на свете, тем больше в этом убеждаюсь.

«Ну, откуда вам знать? Вы ведь нигде не бы-

вали!» Эти слова, казалось, так и вертелись на языке у Кита, но он смолчал. Лицо его покраснело от сдерживаемого волнения, но он не произнес ни слова. А дядя, довольный своей победой, многозначительно сказал:

— Так-то, брат. Дома лучше всего. А ты что скажешь, Мирабай? — И, обращаясь к остальным, добавил — Дети всегда говорят сущую правду.

Теперь обиделась я. Мне было досадно, что меня сравнивают с младенцем, хотя бы и в шутку. Меньше всего я ожидала этого от дяди, который любил подчеркивать, что я уже не девочка, а молодая женщина. В то же время я боялась кого-либо оскорбить своим ответом. Можно было бы сказать: «аминь», но, во-первых, это могли бы счесть за грубость, а во-вторых, в таком ответе уже не было ничего оригинального. Не придумав ничего лучшего, я сказала:

— Дома совсем неплохо.

И этот, в общем, не очень-то удачный ответ оказался наиболее уместным. Все засмеялись и заговорили уже более мирно.

После обеда, по меньшей мере, в течение двух часов, все, кто имеет такую возможность, отдыхают. Сытые, полусонные люди поспешили наверстать упущенное. Исчез Говинд, родители,

как обычно, удалились в свою спальню. Оставшихся родственников развели по комнатам для гостей. Кит, зевая, тоже отправился к себе, а Ричард, утверждавший, что никогда в это время не ложится в постель, задремал в гостиной на диване. Диван этот, набитый конским волосом, был слишком жесток, короток и узок. Сквозь незанавешенные окна свет бил прямо в лицо спящему. Я с невольным состраданием посмотрела на его блестевшие от пота виски, на влажные складки по сторонам рта, на пряди волос, падавшие на потный лоб, на всю его странно скрюченную фигуру… Ричард повернулся на бок, пробормотал что-то невнятное, и я поняла, что мне не следует стоять здесь, глядя на беззащитного во сне человека. Я отвернулась и пошла к себе наверх.

Пришло время пить чай: мы уже целых полчаса слышали, как в буфетной гремят посудой и хлопают дверцами шкафов. Мы встали, умылись, переоделись. Чай был подан, а Кит и Ричард все не появлялись.

— Не надо их тревожить, — сказала мама. — Устали, пускай поспят.

Но вот чаепитие кончилось. За окнами сгустились вечерние тени. День был жарким, и сумеречный свет казался золотисто-янтарным.

Ушел последний замешкавшийся родственник, а Кит с Ричардом еще спали, видимо сильно утомленные долгим путешествием и суматохой.

— Если их сейчас не разбудить, — забеспокоился отец, — то потом они будут чувствовать себя разбитыми. Пошлю-ка я за ними слугу.

— После такого сна они все равно будут разбитыми, — с улыбкой возразила мама и пошла распорядиться насчет ванны.

Когда Ричард и Кит наконец появились, вид у них действительно был неважный: лица опухли, глаза покраснели, у Ричарда на щеке сохранились отпечатки жесткой диванной подушки.

Пока они умывались, я налила в кувшин свежего лимонада с шалфеем и принялась энергично размешивать в нем кусочки льда и сахарный песок.

— Ты сущий ангел, — сказал Кит, с жадностью глотая питье. — Без тебя я бы пропал.

— Я — тоже, — с улыбкой подтвердил Ричард. — Тебе повезло, Кит. У тебя лучшая из всех сестер.

Мне было тогда шестнадцать лет, и я уже знала, как нужно отвечать на подобные комплименты. Но как-то так получается, что нужные слова никогда не приходят на ум. То же произошло и на этот раз. Я испугалась, что начну заикаться.

Поэтому смолчала, не решаясь произнести даже такую элементарно вежливую фразу, как «вы очень любезны».

— Назови свое желание — и оно будет исполнено, — щедро посулил Кит (лимонад подействовал на него удивительно ободряюще). — Чего ты хочешь: розу в волосы? Шелковое сари? А может, сводить тебя куда-нибудь? Хочешь посмотреть выступление танцовщицы? Или сходим потанцуем? — Заметив мой удивленный взгляд, он вдруг посерьезнел и ласково сказал: — Прости меня, сестренка. Ты, верно, думаешь, что я сошел с ума, что меня хватил солнечный удар, да?

Когда Кит становился таким милым, я готова была ради него на все.

— Нет, нет, Кит, — поспешно возразила я. — Ничего подобного.

— Ты чудо, а не ребенок. — Кит отбросил игривый тон, словно и вправду говорил то, что думал. У меня стало тепло на душе. — Куда же все-таки ты хотела бы пойти?

— Сегодня?

— Сегодня.

— А ты не устал?

— Разве у меня усталый вид?

— Да, — откровенно сказала я.

— Надо только принять ванну, и все будет в порядке, — проговорил он, вставая. — Ну, как?

Я колебалась. Можно было пойти в кино, но там шли два фильма, один из которых — английский — я уже видела, а другого Ричард не поймет. Был еще спектакль «Шакунтала» в постановке драматического театра, гастролировавшего в нашем городе, но хотя «Шакунтала»— моя любимая пьеса, мысль о Ричарде опять меня остановила. Может, пойти в клуб? Ричарду, вероятно, там понравится, а Киту — тем более. А мне так хотелось угодить брату. Когда я предложила клуб, глаза Кита заблестели, и он охотно согласился. Но был ли доволен Ричард, я не уверена, хотя он и сказал то же самое, что и брат, и я не уловила никаких признаков того, что он соглашается лишь из приличия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я и мои родители бывали в клубе довольно часто, но Говинд упорно отказывался сопровождать нас. Отца привлекали бильярдная и корты для игры в скуош[7] и теннис, содержавшиеся в несравненно лучшем состоянии, чем те, которыми располагал Восточный клуб (этот клуб появился по инициативе небольшой группы индийцев, не сумевших добиться права членства в Английском клубе). К тому же отец любил общество, а в этом клубе всегда, за исключением жарких дней, было многолюдно. В Восточном же клубе, если только вы не попадали туда в разгар кампании за вовлечение новых членов, посетителей собиралось так мало, что иногда бывало трудно составить даже партию для игры в бридж.

Мама сопровождала отца, потому что не хотела отпускать его одного и потому что любила играть в бридж. Я ходила потому, что меня туда водили, желая приучить к обществу европейцев — такова была программа моего воспитания: когда я — ве-

[7] Примечания: 7
Скуош — игра, напоминающая теннис.

роятно, очень скоро, — выйду замуж за человека своего круга, который, подобно моему брату, получит образование за границей, то от меня потребуется такое же умение свободно вращаться в кругу европейцев, каким будет обладать муж.

Но хотя я и понимала, как это важно, все же нет-нет, да и, вздыхая, спрашивала себя: стоит ли затрачивать столько усилий на усвоение этого урока? Однако сегодня, я чувствовала, все будет иначе: ведь я еду туда в сопровождении молодых людей. Пусть родители играют в свой бридж — мне не надо торчать около них, не зная, чем заняться и, еще того хуже, — что сказать. Обо всем позаботятся мои спутники: искушенный в таких делах Кит и Ричард, свой человек в этом мире. На этот раз я могу оставаться сама собой, могу спокойно слушать их беседу о том, что где случилось, их рассказы, которые даже мне кажутся фантастично нелепыми, но которые вызывают у меня смех. И, охваченная светлым радостным чувством, я с жаром воскликнула:

— О, Кит! Как хорошо, что ты вернулся!

— Ты так думаешь, котенок? — рассеянно спросил Кит. Потом, встрепенувшись, сказал: — Я и сам рад, что вернулся. Ну, пора ехать. Прыгай.

О прыганье, конечно, не могло быть и речи

— недаром же я потратила столько времени, чтобы задрапироваться в сари. Тем не менее я не заставила себя ждать и юркнула в автомашину — мне тоже не терпелось уехать.

Кит, хотя его водительские права давно уже были недействительны, сел за руль, а Ричард расположился вместе с нами на переднем сиденье.

— Не засиживайтесь, — громко предупредил нас отец, стараясь перекричать рев мотора (у Кита все машины, даже новейшей марки, ужасно шумели). — Во всем надо соблюдать умеренность.

Судя по всему, отец не имел ничего против того, что мы едем одни, хотя предпочел бы, как мне кажется, чтобы за рулем сидел не Кит, а шофер, которого тот отправил домой. Да и мама немного беспокоилась.

— Помни, что ты не в Англии, — сказала она. — Дороги здесь скверные, ездить быстро нельзя. — Обращаясь к Киту, она смотрела на меня, как бы напоминая лишний раз о присутствии Ричарда, который сидел между мной и дверцей. Я знала, что она сожалеет не только о шофере, но, в глубине души, и об отсутствии более надежного, чем Кит, сопровождающего.

По субботним вечерам в клубе даже в мерт-

вый сезон бывало многолюднее, чем в других общественных местах. Заезжали туда и жители соседних областей: служащие лесничеств, младшие чиновники учреждений, начинавшие службу на периферии, и даже миссионеры, которые по будням скрывались в глухих, мало кому известных селениях. Приезжали они с женами, а кое-кто — и со взрослыми дочерьми, и оставались в клубе на ночь.

Даже сейчас, в середине мая, когда все, кто мог, бежали от жары в горы, в клубе собралось около двадцати Человек, в том числе пять-шесть женщин. Многие были Мне знакомы, да и меня они привыкли здесь видеть, так Что никто моему появлению не удивился.

Если не считать нескольких мимолетных взглядов, па Ричарда и Кита тоже никто не обращал внимания. Шум голосов, утихший с нашим приходом, быстро возобновился. Казалось, мы не вызывали ни интереса, ни даже любопытства у окружающих, и тем не менее я чувствовала и то и другое; и это ощущение наполняло меня радостью.

Над головой гудели включенные на полную скорость большие вентиляторы; выплетая серебристые петли, они гоняли по залу мощные

потоки сухого воздуха. Ричард сказал:

— Вы, кажется, довольны жизнью. Я уже десять минут смотрю, как вы чему-то улыбаетесь. Знаете ли вы, что улыбаетесь?

Я этого не знала, и мне стало неловко за свою непосредственность. Я постаралась сделать серьезное лицо, но тут же испугалась: не глупый ли у меня вид?

— Просто я рада, что мы здесь. Мне это… приятно.

— Вы часто здесь бываете?

— Да, довольно часто.

— И вам здесь нравится?

Его голубые глаза устремились прямо на меня. Они спрашивали. Под таким взглядом лгать невозможно. Даже полуправда становится ложью.

— Вообще — нет. Но сегодня — да, — сказала я.

Он продолжал пристально смотреть на меня.

— Зачем же вы сюда ходите?

Не зная, что ответить, я растерянно молчала.

— Не могу вам объяснить, — пролепетала я наконец, чувствуя, что краснею.

В эту минуту, к моему облегчению, возвратился Кит, неся очередную, третью по счету, порцию напитков: виски для мужчин и фруктовый сок

— для меня. Пододвинув к себе бокал, я уткнула в него свое пылающее лицо.

— А я думал, будут танцы. — В голосе Кита прозвучала досада. — Когда-то у них играл оркестр. Почему его нет?

— Оркестр играет только с наступлением сезона, — ответила я. — Не помню, чтоб он бывал тут в какое-либо другое время.

— «Сезона»? — переспросил Ричард с иронией. — Какого такого «сезона»?

— Когда кончается мертвый сезон… — начала было я и осеклась. Объяснение было глупое. Ричард засмеялся:

— Все понятно. Сезон — это когда не мертвый сезон, верно?

Он сказал это так, что невольно я и сама рассмеялась. Смущение мое прошло.

— Посмотрел бы ты, что тут делается во время сезона, — сказал Кит, разражаясь громким хохотом. — Блеск!

Ричард тоже громко рассмеялся, и публика начала посматривать в нашу сторону.

— Пойдемте в бар, — предложила я.

В бар посетители заходили редко: больших потолочных вентиляторов там не было — крутился только один небольшой настольный.

Мы встали из-за стола и через турникет вышли из общего зала. Не успели мы расположиться у стойки, как к нам подошла миссис Миллер. Это была дама лет тридцати пяти. В горы она никогда не уезжала, так как ее муж, работавший здесь по контракту, не располагал достаточными средствами, Ее морщинистое лицо носило печать тяжелого климата и неудовлетворенности жизнью.

Я очень мало была с ней знакома, но она вела себя так, будто мы старые приятельницы.

— Здравствуй, Мира! Рада тебя видеть. Как ты поживаешь?

— Очень хорошо, — ответила я. — А как вы?

— Ты прекрасно выглядишь. Просто чудесно.

Наступила неловкая пауза. И что это я не умею поддерживать разговор?

Миссис Миллер спросила:

— Так что? Ты не собираешься познакомить меня со своими друзьями? Хочешь владеть ими безраздельно?

Едва она это сказала, меня вдруг охватило собственническое чувство, и я подумала: да, именно этого я и хочу. Но я лишь робко проговорила:

— Это мой брат Китсами. А это…

К ужасу своему я только тогда вспомнила, что

не знаю фамилии Ричарда. В эту минуту я возненавидела англичанку, поставившую меня перед Ричардом в такое неловкое положение. Как бы он не подумал, что я невежа, которой приходится напоминать о манерах? К тому же я не знаю, как его представить… Я терзалась ненавистью к ней, к себе самой и более всего к Ричарду, оказавшемуся свидетелем этой печальной сцены.

— Ричард Марлоу, — подсказал Кит. — Мы вместе учились в Оксфорде.

Пока они знакомились, к нам подошел какой-то мужчина, а потом — еще женщина с мужем, и начались рукопожатия. Снова виски и фруктовый сок. Все вели себя как добрые друзья. Ричард был в центре внимания. Даже среди своих соотечественников он выделялся светлостью кожи. У других англичан лица уже утратили свежесть и начали увядать.

Кто-то пожаловался на духоту и предложил выйти. Вернувшись в зал, мы уселись за столик, стоявший прямо под вентилятором, и сразу стало скучно. Вечер, искрившийся вначале таким весельем, обещавший столько приятного, превратился в обычную клубную субботу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После того вечера Ричард стал получать много приглашений. Почти ежедневно приходили посыльные с записками и ждали, пока он напишет ответ. Мы уже привыкли видеть в тени мангового дерева двоих-троих посыльных. Иногда вместе с Ричардом приглашали и Кита, но это случалось реже. Сначала это, по-моему, забавляло и того и другого, но вскоре такая популярность стала явно надоедать Ричарду, хотя он и не признавался в этом. Разумеется, не было ничего удивительного в том, что члены небольшой английской колонии хотели видеть его у себя в гостях. Удивляло то, что он неохотно принимал приглашения. Складывалось впечатление, что он с удовольствием оставался бы дома и занимался своими обычными делами, хотя бы это и вызывало у других (по крайней мере, у моих родителей) недоумение.

Не знаю, нравилось ему у нас или нет, но мы изо всех сил старались угодить ему, и он уверял, что доволен. Однако всем нам, особенно маме, приходилось нелегко. Дом наш, правда, был приспособлен для приема не только индийцев,

но и европейцев (две столовых, две кухни, даже два штата слуг — одни умели стряпать для индийцев, другие, прошедшие обучение в домах англичанок, знали, как разделывать мясо и как прислуживать за столом), и все же парадные покои «европейской» части дома рассчитаны были лишь на кратковременные визиты гостей: для таких же постояльцев, как Ричард, они не годились. И мы знали: чем скорее мы покончим с этим разделением, тем лучше для всех нас.

Кит настаивал, чтобы мы пользовались своей обычной столовой. В первый день, когда было наготовлено столько яств, когда в доме царило праздничное настроение, никто не возражал против этого. Но теперь надо было подумать и о приличиях… Мама, со своей стороны, настаивала, что рай уж Ричард гостит у нас в доме, то его надо кормить привычной для него пищей, а не навязывать ему индийских кушаний, которые ему приходилось бы есть из вежливости. Однако доставать каждый день свежее мясо было трудно, и в течение четырех дней она кормила Ричарда солониной. Когда солонина кончилась, мама спросила его, какие мясные консервы он предпочитает; самой ей трудно судить, какие лучше, а какие хуже. Из их разговора она вынесла убеж-

дение, что Ричард может обходиться без мясных блюд, и перестала готовить для него отдельно. Это очень облегчило наше положение.

Потом Кит стал жаловаться на старую беззубую Додамму: вечно она путается под ногами, лезет на глаза; с какой стати она всем докучает своим присутствием? Видимо, она смущала его своим видом: расхаживала по дому, как и подобает вдове, с непокрытой стриженой головой и в сари, накинутом прямо на голое тело, что легко было заметить, так как сари сползало у нее с плеч. Но с Додаммой ничего нельзя было поделать: она жила у нас на правах бедной родственницы и члена семьи, и приходилось принимать ее такой, какая она есть.

Кит надеялся, что она спрячется; и правда, весь первый день она не показывалась. Но вряд ли можно было ожидать, что она будет прятаться все время. Говинд, у которого вдруг развязался язык, стал на сторону Додаммы. Зачем это ей, родственнице, прятаться от какого-то англичанина? Все знали, что Додамма ему не ближе, чем нам, а между тем создавалось впечатление, будто она с ним в прямом родстве. Слова Говинда уязвили Кита, и без того чувствовавшего неловкость. Ссору предотвратила сама же Додамма; большая люби-

тельница подслушивать, она стала их увещевать, ну стоит ли двоим прекрасным молодым людям ссориться из-за какой-то никчемной старухи! Додамма выражала неподдельное изумление, но это лишь ухудшило дело. Кит пришел в дикую ярость и выскочил вон.

Не знаю, замечал ли Ричард эти стычки, по его внешнему виду ни о чем нельзя было догадаться. Одно из двух: либо нам удавалось скрыть от него свои распри, либо ему — скрыть свою осведомленность. Как всякий человек, не переносящий дрязг, я была ему благодарна, но иногда его безмятежность раздражала меня, и я начинала подозревать: не скрывается ли под ней обыкновенное безразличие? Любопытно только, что, когда мы оставались с ним наедине, никаких сомнений на этот счет я не испытывала; подобные мысли приходили мне на ум только под влиянием нервозности других.

Мы часто бывали с Ричардом вдвоем. Происходило это обычно благодаря Киту. Только что вернувшись из Англии, где была весна, он плохо переносил жару и, как правило, никуда не ходил до наступления вечерней прохлады. Он постоянно напоминал о данном им в первый день обете никогда больше не сопровождать Ричар-

да и выполнял этот обет — по крайней мере, в дневные часы, когда так нещадно палит солнце. «Ты лучше сестренку с собой возьми, — говорил он, отхлебывая из стакана пахтанье и потирая покрасневший, покрытый волдырями лоб. — Она хорошо знает здешние места и покажет тебе куда больше, чем я. Лучшего гида не найти». Я старалась утаить свою радость, а мама — дурные предчувствия. Она боялась, что сын рассердится и скажет что-нибудь резкое, вроде: «Дорогая, а почему бы и нет?» Так опа и отпускала нас без единого звука, надеясь, что никто из родственников не увидит нас вместе, и в то же время отлично зная, что нам не укрыться от любопытных глаз; зная, что отпускает вдвоем мужчину и женщину, таящих в себе искру, которая лишь ждет своего часа, благоприятного случая, взгляда, прикосновения, чтобы вспыхнуть ярким пламенем; зная, что родственники не преминут выразить ей порицание, а она даже ничего не сможет возразить.

Но Ричард, казалось, не вникал во все эти сложности. Для него я была тем, за кого меня выдавал Кит: просто ребенком, сестрой Кита и, как он выразился, хорошим гидом. Меня это вполне устраивало. Впервые, со времен своего детства, я ощущала сладость свободы. Если я шла в храм,

то меня сопровождала мама; бродить пешком по торговым улицам я не могла — полагалось ездить в автомобиле; а если я непременно хотела идти пешком, то со мной посылали няню или пеона, которые неохотно, как подневольные, плелись сзади и ворчали, если я ходила слишком долго или слишком быстро.

Ричард был мне товарищем, а не докучливым стражем, он хотел видеть все, что бы я ни предлагала, и жаловался только на то, что слишком короток день. Он не знал усталости и доводил меня почти до полного изнеможения.

— Можно подумать, вам осталось жить не более месяца, — сказала я ему однажды и, обессиленная, опустилась на ступеньки лестницы, врубленной в скале, по которой мы карабкались вверх.

— Возможно, вы и правы, — ответил он, вставая и окидывая меня взглядом. — Кто знает?

— А что? Разве у вас?.. Разве вы?.. — начала было я, запинаясь.

— Разумеется, нет. Что за глупости! Разве я похож на умирающего? — Он тронул меня за локоть и сказал, что пора идти дальше.

— Нет, — ответила я, послушно карабкаясь на гору впереди него. — Только мне непонятно, что

вы хотели сказать. — В ожидании его ответа я остановилась.

— Что я хотел сказать? — переспросил он и подтолкнул меня вперед. — Ну, начнется служба… пройдет какой-нибудь месяц, и я уже не смогу бродяжничать, как сейчас.

Когда он это сказал, я все поняла, слишком хорошо поняла. Но мне не хотелось думать о том, что будет через месяц; мне было хорошо сегодня, в этот миг; хорошо стоять вот здесь, высоко над землей, вдали от городского гула и, прислушиваясь к горячему шепоту ветерка, смотреть сверху вниз на верхушки деревьев и на россыпь поблескивающих на солнце камней.

На вершине скалы была пещера. У входа стоял сторож в тюрбане, с бляхой на груди. Он прилип к нам, точно пиявка, требуя с нас деньги. Но когда мы наконец избавились от него, очарование вернулось.

Мы шагнули внутрь, в кромешную тьму, навстречу холодному смраду сырой земли, камня и плесени — запаху самой вселенной — и, постояв немного в молчании, двинулись дальше, достав свечи, сложенные кучкой на выступе стены. Когда свечи разгорелись, тьма стала медленно отступать. Нашему взору одна за другой откры-

вались высеченные из камня фигуры. Кто-то — конечно, не один человек — терпеливо, вдохновенно трудился здесь, щедро одаривая людей богатством форм и линий.

Мы вышли оттуда, щурясь от яркого света, задумчивые и молчаливые, и сразу наткнулись на сторожа; тот уже протягивал нам почтовые открытки с желтой каймой и гипсовые слепки резных фигур — жалкие копии с оплывшими контурами и неровными грубыми швами по бокам.

— Фигурки чудесные, — сказал он. — Возьмите, они принесут вам счастье. — Поняв, что мы покупать не собираемся, он перегнил тон и захныкал: он-де бедный человек, живет только продажей сувениров, а посетителей почти не бывает... Ричард не устоял, купил у него фигурку и дал мне; отойдя шагов на сто, он взял ее обратно и швырнул вниз с горы. Сама я так не поступила бы — это было изваяние богини, — но его поступок одобрила. Безмолвие нарушил Ричард:

— Это правда, что здесь мало посетителей?

— Очень немногие знают об этой пещере, — ответила я. — Да и подниматься сюда трудно. Многих это отпугивает, особенно летом.

— В любой другой стране построили бы подъемник, фуникулер или еще что-нибудь, — сказал

он.

Я кивнула.

— Жаль, что у нас ничего этого нет.

— А если было бы, тогда что? — с любопытством спросил он. — Больше гидов, больше посетителей, свечи по рупии за штуку…

— Я не о том, — нерешительно сказала я, не зная, как лучше выразить свою мысль. — Мне только жаль, что все это — для немногих… А здесь столько интересного.

Ричард не отвечал, и мы продолжали путь в задумчивом молчании, пока не спустились на равнину. Здесь мы обернулись и, стоя на серой от пыли тропе, задрали головы: вершина скалы маячила где-то далеко-далеко, а деревья утратили свое загадочное очарование.

Днем Кит почти не выходил из своей комнаты, и только в предвечерние часы он отправлялся с Ричардом в клуб поиграть в скуош или в теннис. «Надо размяться», — говорил он. Заспанный, опухший, со взъерошенными волосами, зевая, поднимался наверх принять ванну, а через четверть часа возвращался — посвежевший, подтянутый, неотразимый в своем белом теннисном костюме; родители с довольным видом смотрели, как они с Ричардом садятся в машину и уезжают.

Но так длилось недолго — меньше недели.

— Больше не могу, — сказал он однажды. — Это все равно, что тяжелая работа. В нашем климате нельзя надрываться.

— Но надо же что-нибудь делать, — возразил отец. Он тоже верил в пользу физических упражнений и старался не пропускать своих ежедневных пятимильных прогулок.

— Разумеется, — согласился Кит и обещал заняться чем-нибудь полегче.

На следующий день отец подарил ему гантели, сказав, что на первое время и их будет достаточно, а тем временем он отыщет аппарат для тренировки гребцов. Если бы не его настойчивость, Кит, наверное, и не вспомнил бы о необходимости физических упражнений, но тут он оживился и объявил, что намерен регулярно заниматься плаванием.

— Где же ты будешь плавать? — удивилась мама. — Реки-то высохли.

— А плавательный бассейн?

— В жаркое время года он закрыт, — осторожно напомнила она. — Забыл разве?

— Ничего, найдем, где искупаться, — не сдавался Кит. — Пошли, Ричард. Мира! — Загоревшись, он сбегал наверх, принес полотенца и купальные

трусы для себя и Ричарда и швырнул их на заднее сиденье автомобиля. Мама помалкивала, хотя и была уверена, что мы не найдем никакого подходящего водоема.

Сначала мы ехали вдоль извилистой реки, а потом, оставив машину в роще, пошли по пересохшему руслу. Ноги вязли в сухом серебристом песке, подернутом рябью, словно река в ветреную погоду, и каждый фэрлонг[8] пути казался нам милей. Но воды все не было, мы решили, наконец, подняться на берег и пошли между деревьями по толстому слою хвои, мягко, точно пухлое стеганое одеяло, стлавшемуся у нас под ногами. Вскоре мы оказались в густой лесной чащобе и там, к своему удивлению, наткнулись на прозрачную стоячую заводь, неведомо как уцелевшую в летнюю засуху.

— Что я вам говорил? — ликовал Кит. — Нет ничего невозможного, надо лишь сильно захотеть. В том-то и беда нашей страны, что никто не хочет потрудиться.

Он побежал в кусты, мгновенно натянул купальные трусы и ринулся, головой вниз, в воду. Вынырнув, встряхнул волосами и позвал Ричар-

---

[8] Примечания: 8
Фэрлонг — 1/8 мили.

да. Я не думала, что мы сможем выкупаться, и не взяла ничего, во что бы переодеться, поэтому осталась сидеть на берегу. В заводи плавали не только Кит и Ричард; неподалеку от них копошилась стайка потревоженных ими небольших зеленых змей; это были молоденькие, безвредные змейки, и я ничего не сказала, не желая пугать Ричарда, еще не привыкшего к нашей стране. Но Кит заметил их сам и поспешил на берег. Я видела, как он содрогнулся, но не от страха; вид склизких ползучих тварей всегда вызывал у него отвращение. Следом за ним вылез и Ричард. Не знаю, о чем он тогда подумал, только больше мы туда не ездили.

Кит, однако, отказывался признать себя побежденным; купание, хотя и очень недолгое, возбудило в нем еще большую жажду удовольствий, и он предложил на следующий день поехать на морской пляж.

— Туда всего час езды, — объявил он. — Устроим пикник. Ну, как?

Ричард с удовольствием согласился, я — тоже. Даже Говинд, неизменно отказывавшийся ездить с нами — он предпочитал проводить время в кругу своих друзей, — и тот, казалось, вот-вот скажет «да», хотя все-таки сказал «нет». Возбужденная,

я побежала сообщить маме, но та, выслушав до конца мою торопливую речь, сказала, что не пустит меня.

— Почему? — спросила я, а сама подумала: «Отчего она никогда ничего не разрешает?» Но спорить было бесполезно, и мои крылышки поникли.

— Скромность украшает женщину, — ответила она. — Нехорошо, когда девушка ездит с молодыми мужчинами.

По ее понятиям, девушке неприлично быть в кругу молодых мужчин, когда у нее слиплась прическа, а мокрое сари плотно облегает тело.

— Он же мне брат, — сказала я.

— А тот, другой?

— Но я же сказала им, что поеду! — нетерпеливо воскликнула я. — Как мне теперь быть?

— Скажи, что не умеешь плавать.

— Но я же умею плавать! — надрывно закричала я. — Прекрасно умею!

Вспышка гнева, точно порыв ветра, распахнула ворота неповиновения: но я не успела сделать и шагу, как вдруг послышался голос мамы, — голос, в котором звучали печаль и любовь одновременно:

— Доченька, милая. Поезжай, если не можешь

поступить иначе.

Ветер стих, и во внезапно наступившей тишине я услышала скрип закрывающихся ворот.

— Что же я им скажу? — уже спокойно повторила я свой вопрос.

— Это совсем не трудно, — ответила она со слабой улыбкой. — Скажи, что сегодня ты не можешь купаться. Они поймут.

Итак, я осталась дома, и Ричард с братом поехали без меня. После этого они съездили на пляж еще два раза. На третий день, обгорев на солнце, они потеряли интерес к этим поездкам, и Кит перестал даже упоминать о необходимости разминок.

— Попробовал, и довольно, — говорил он, посмеиваясь над собой и показывая на свой красный шелушащийся лоб. И, с философским видом пожимая плечами, добавлял, что лучше переждать жаркую погоду.

Ричард не задумывался над пользой физических упражнений, он любил прогулки сами по себе; я тоже с ним ходила, и это ему, видимо, нравилось. Иногда ему хотелось не просто погулять, а и посмотреть какое-нибудь празднество или ярмарку, и я с удовольствием составляла ему компанию. Мы бродили по узким кривым

улочкам торговых кварталов, и Ричард покупал дешевые безделушки, которые ему были совсем не нужны; просто ему нравилось торговаться, удивляя лавочников своим знанием нескольких тамильских слов, которым я его научила.

В канун Нового года, присоединившись к яркому красочному шествию, мы обошли весь город, а когда стемнело, стали любоваться фейерверками. Иногда мы часами просиживали на ступенях пруда в центре города, где нищие моют свои лохмотья, а продавцы молока —. буйволиц, и где собираются женщины, чтобы посудачить; они глазели на Ричарда и тихонько посмеивались, пока не привыкли к нему, а их дети кидали в воду камешки. Всякий раз, когда в пруд падал камень или кто-нибудь погружал в него кувшин, вода начинала колыхаться, сплетая все новые узоры из водорослей и лилий, плававших на поверхности.

Однажды Ричард вдруг поинтересовался моим образованием; очнувшись от собственных мыслей, я ответила, С того времени, ка^ мы познакомились, прошел уже месяц. Месяц, со всеми фазами луны. Как ни старалась я задержать время, дни мчались за днями, и вот уже Ричарду настало время уезжать.

Сначала наш гость намеревался погостить у

нас две недели, но Кит уговорил его пожить еще; к этой просьбе присоединились и родители, не только ради Кита, а и потому, мне кажется, что молодой англичанин пришелся им по душе. И Ричард остался у нас еще на полмесяца. Когда же кончился и этот срок, он поблагодарил моих родителей и Кита, а потом, оставшись со мной наедине (пожив среди нас, он кое-чему научился), поцеловал меня и спросил, не стала ли я относиться к нему более дружелюбно.

— Более дружелюбно? — удивленно переспросила я. — О чем вы говорите?

— Ну, по сравнению с тем, что было вначале.

Я смотрела на него в растерянности. Неужели это было так явно?

— Вы были… такой колючей, — пояснил он с укоризной, продолжая смотреть на меня, чтобы я не могла солгать.

— Так было лишь вначале, — созналась я наконец. — В самом, самом начале.

— Начало плохое, зато продолжение лучше, — сказал он.

Не знаю почему, но достаточно ему было заменить слово «конец» словом «продолжение», как я до смешного обрадовалась.

Провожали мы его вчетвером.

— На этот раз обойдемся без церемоний, — со смехом сказал Кит и хлопнул Ричарда по спине. — Приезжай опять, да поскорее.

Ричард улыбнулся и кивнул головой. И от его кивка у меня потеплело на душе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не помню, чтобы до возвращения Кита мы получали много писем, если не считать почты отца, которая состояла большей частью из деловой переписки по поводу земельных участков и тяжбы с арендаторами-неплательщиками. Ни мама, с головой погруженная в заботы о семье, ни Говинд, круглый сирота, ни Додамма, одинокая вдова, ни тем более я, писем не получали. Да и с кем нам было переписываться? От Кита, когда он был в Англии, почта поступала крайне нерегулярно: то за один месяц придет сразу дюжина голубых конвертов, а то — совсем ничего; и вдруг, одна за другой, краткие выразительные телеграммы.

Все послания моего брата адресовались семье в целом (Кит говорил, что глупо переписывать по пять раз одно и то же), и мы читали их коллективно. В тех же редких случаях, когда письмо предназначалось кому-то одному, почетное право вскрытия принадлежало только самому получателю. Отец особенно настаивал на этом принципе и даже как-то побранил Додамму, не одобрявшую подобных глупых новомодных

правил, за то, что она вскрыла письмо на имя Говинда. И в то же время считалось неприличным, если кто-то из нас, вскрывая свое письмо в отсутствие остальных, не хотел сказать, от кого оно, и зачитать из него пространные выдержки.

Пока не было Кита, установленный порядок строго соблюдался, и домашняя цензура действовала отлично. Но с его приездом все пошло иначе, потому что он не обращал никакого внимания на наши правила. Письма стали приходить пачками и почти все — ему. Бегло просматривая их, улыбаясь чему-то, но ничего не объясняя, он уносил всю почту к себе в комнату и там перечитывал. Больше ничего об этих письмах мы не слышали, и никто даже не знал, откуда они и от кого — от мужчин или — страшно подумать! — от женщин, этих бесстыжих белокурых сирен, что опутывают своими шелковыми сетями неискушенных юношей.

Мама не задавала никаких вопросов. Когда Ричард уехал, она распорядилась перевести Кита в комнаты, предназначавшиеся для него с самого начала, и внимательно следила за тем, как слуги укладывают и перетаскивают вещи. Бумагами и книгами она занималась сама, боясь, как бы неграмотные слуги чего-нибудь не испортили.

Покончив с делами, она сошла вниз, раскрасневшаяся от работы, но гораздо более спокойная, чем бывала в последнее время; Кит, сидевший в это время в глубоком кресле и читавший книгу, поднял на нее глаза и произнес насмешливым тоном:

— Ну, вот, обошлось-таки без девицы из бара.

Он откуда-то узнал, что «девица из бара» являлась для нее, как и для многих ей подобных, символом всего, чем опасен Запад, — бесстыдства, крашеных женщин, легкости нравов, позолоченного мира, для которого и море не преграда и который может предъявить свои права на мужчину. Но мама, хотя и покраснела еще сильнее, быстро овладела собой и сказала:

— Я не представляла себе, чтобы у моего сына была такая подруга.

Какая же подруга была у Кита? Не помню, какой она рисовалась моему воображению, только знаю, что не такой, какой оказалась в действительности. Однажды Кит попросил меня сменить промокательную бумагу, и под пресс-папье я увидела ее фотографию. У нее было молодое, с мягкими чертами лицо, нежные губы и светлые волосы, падавшие на плечи наподобие блестящей шелковой шторы.

У меня было такое ощущение, словно я застала ее врасплох. Во всем ее облике чувствовалась какая-то беззащитность: так иногда выглядят люди, не подозревающие, что на них смотрят. Ощущение было настолько сильным, что у меня появилось желание поскорее прикрыть чем-нибудь фотографию. Я не знала, что делать: положить пресс-папье на место и уйти, ничего не сказав Киту, или дать ему понять, что я видела фотографию. Пока я раздумывала, вошел Кит.

— Извини, что так получилось, я совсем не хотела подглядывать, — сказала я.

— Мне нечего скрывать, — ответил брат и, подойдя к столу, остановил взгляд на портрете. Помолчав немного, ой воскликнул: — Не правда ли, очень хороша собой?! Настоящая красавица.

Я молча кивнула, не глядя на него. Потом спросила:

— Кто это, Кит? Ты ее знаешь?

— Ты о Сильвии? — тихо спросил он. — Так, одна девушка… Моя знакомая…

Я ушла, оставив его одного. Он был так занят своими мыслями, что даже не взглянул в мою сторону. Наверно, не заметил, как я вышла. После этого случая ее образ всегда стоял у меня перед глазами — образ Сильвии, девушки с шелкови-

стыми волосами, знакомой моего брата.

Не знаю, что повлияло на маму: непрекращающийся поток писем в адрес Кита, приближение свадебного сезона или стремление благополучно женить его до того, как он получит назначение на службу, только она начала, по ее собственному выражению, «думать о будущем». Она зачастила к родственникам, а родственники, вернее, родственницы, потому что мужчины не любят утруждать себя подобными хлопотами, стали навещать ее. Каждый день происходили длинные разговоры с Додаммой; глаза у старухи оживились, заблестели, она то и дело ходила куда-то с поручениями.

К концу месяца мама стала получать почти столько же писем, сколько Кит. Обычно они были заключены в объемистые конверты с твердыми прокладками внутри, чтобы не помялись фотографии и копии гороскопов; такие конверты уже не лезли в почтовый ящик, висевший у нас на воротах, и почтальону приходилось тащиться по аллее до самого дома. Отец каждый раз давал ему на чай, и это служило единственным подтверждением того, что он в курсе происходящего.

Кит не замечал ничего. Шушуканье в доме, частое появление гостей, многозначительный вид

Додаммы, лукавое переглядывание слуг — все это словно его и не касалось. А может быть, ему в самом деле все было безразлично? Он, видимо, скучал по Ричарду; ему уже не с кем было делиться воспоминаниями. И воспоминания эти, когда-то такие яркие, стали постепенно блекнуть. Мы уже больше не слышали его рассказов о разных забавных случаях.

Всему причиной жара, постоянно твердила мама. И правда, Кит страдал. Потница мучила его все сильнее: руки и ноги покрылись сыпью, зудели, и он непрестанно чесался. А когда жара еще усилилась, на месте безобразных красных пятен появились волдыри. Кит перестал выходить из комнаты; угрюмый, мрачный, он сидел, стараясь не шевелиться, смачивал больные места нашатырным спиртом и ворчал на всех, кто приносил ему еду или уговаривал покушать.

Мне кажется, мы с братом причиняли Додамме очень много огорчений: Кит — своим полным безразличием, а я — неумением даже притвориться, будто мне приятно участвовать в этих волнующих поисках невесты для брата.

— Это никуда не годится! — с укоризной сказала она мне. — Девушка в твоем возрасте не может не интересоваться такими вещами! Разве ты не

знаешь, что брак — второе по важности событие в жизни?

Ну, зачем она задает мне такой вопрос? Ведь сама же столько раз объясняла.

— Да, знаю.

— Тогда прояви хоть немного интереса. Подумай о брате, порадуйся за него.

Думать-то я о нем думала, только радости не испытывала.

— Если это все, на что ты способна, тогда лучше не думай. — Додамма бросила на меня сердитый взгляд. — Глядя на тебя, можно подумать, что у нас кто-нибудь умер. Что с тобой?

— Не знаю, — устало ответила я.

Мне надоело ее слушать и хотелось, чтобы она ушла и оставила меня в покое. Но она не ушла, ибо относилась к числу людей, неспособных понять мысли и чувства других.

— Отвыкла ты от жары, — не унималась Додамма. — Каждый год в горы уезжаешь, как будто родилась и выросла не здесь, а в Исландии. А ведь я говорила отцу, чтобы он не посылал тебя туда. Да кто слушает старуху?

Волей-неволей всем приходится ее слушать. И я тоже не могла ей возразить.

— Нет ничего удивительного в том, что ты

не переносишь нашего климата, — продолжала она. — Наверное, опять в горы не терпится уехать.

Я не стала с ней спорить. Конечно, в горах мне нравится, там прохладно и тихо, но по-настоящему я все-таки люблю равнину, и именно в самую жаркую пору, когда земля расцветает красками, каких не увидишь в другие времена года. И если уж я куда-то стремлюсь, так это на равнину, чтобы увидеть кассию и золотой могур во всем их великолепии, и ждать, когда расцветут кактусы, все сразу, единственный раз в году, когда вся округа за одну ночь перекрашивается из темно-зеленого в ярко-малиновый цвет, и остается такой нарядной целую неделю.

Наконец Додамма перестала браниться, голос ее понизился до глухого рокота, в котором уже не были различимы слова. Наверно, она и сама не замечала, что ее речь невнятна: старые люди часто не сознают своей немощи.

Я вышла во двор побродить, потом села под манговым деревом и, прислонившись спиной к шершавому стволу, стала вдыхать аромат спелых плодов. На душе у меня все еще было неспокойно. Рядом со мной неподвижно лежал одуревший от зноя хамелеон; о том, что он жив, я могла судить

только по тому, что его горло раздувалось. Он был бледно-зеленого цвета, как и опавшие листья, на которых лежал. Я взяла камешек и бросила в него. Хамелеон очнулся от дремоты и отполз на несколько ярдов. Едва он лег на голую землю, как сразу же принял окраску почвы. Чтобы позабавиться, я бросала камни, заставляя животное отползать все дальше и каждый раз менять окраску, пока оно, обессиленное, не выползло на самый солнцепек. Тогда я поняла, что это существо, оказывается, вовсе не отупело от жары, а страдает от моей жестокости. Я с отвращением отвернулась. Хотя в эту минуту я ненавидела себя, побуждение мучить хамелеона было настолько сильным, что я едва сдерживалась и, наверное, не сдержалась бы, если бы ко мне не подошел Говинд.

— Какая муха тебя укусила? — резко спросил он. — Я наблюдал за тобой — и не верил своим глазам.

Я смотрела на него, слишком расстроенная, чтобы отвечать. Видимо, он понял это и не повторил упрека, а просто сел рядом, храня обычное молчание.

— Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что делаем. — Голос Говинда звучал уже спокойно. Видя, что я закрыла лицо руками, он заставил

меня опустить их.

— Не знаю, что на меня нашло, — вымолвила наконец я. — Это, по-видимому…

— Ты должна научиться не принимать все так близко к сердцу, — перебил он. — Непременно должна, иначе истерзаешь себя.

Легко советовать — не терзать себя. Как будто можно превратить свое сердце в бесчувственный твердый камень, способный сопротивляться любому воздействию.

— Я знаю, ты тоскуешь по Ричарду, — сказал он. — Чего скрывать? Нас сейчас никто не слышит. И о брате своем беспокоишься. Это и выбивает тебя из колеи. Но вот увидишь: пройдет несколько месяцев, и ты успокоишься. Вряд ли даже вспомнишь, о чем горевала.

Этому невозможно было поверить. О чужих-то делах легко судить. А вот попробуй о своих…

— А по мне ты будешь скучать? — спросил он. — Я ведь тоже скоро уеду. Ты это знаешь?

— Уедешь? — уныло отозвалась я. — Куда? Когда?

— Скоро. Мне предложили место. И я намерен дать согласие.

— Но я полагала… Отец сказал:.. Он хочет, чтобы ты служил у него:

— А я вот не хочу служить у твоего отца. Тем более клерком.

— Не все же время клерком, а только сначала.

Он угрюмо посмотрел на меня, отвернулся и отрезал:

— Возможно. И все-таки я не хочу. У меня другие планы.

— Когда же ты уезжаешь?

— В конце года. Как только получу диплом.

Теперь я уже забыла о себе и засыпала его вопросами: что за место? Как он его получил? Где будет жить? Один или с приятелем? Но Говинд почти ничего больше не сказал и снова ушел в себя — он был молчалив по натуре. Заговорил он только потому, что хотел узнать, что со мной происходит. Скоро и я умолкла, я понимала, что он завел этот разговор ради меня, потому что беспокоится обо мне, но я не могла ничего объяснить ему, не знала, как выразить свои чувства. Бывает ведь так: хочешь сказать, а нужных слов не находишь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Наступил июнь, месяц свадеб, а Кит все еще не выбрал невесту. Прошло уже порядочно времени с тех пор, как мама дала ему небольшой список молоденьких девушек— современных, закончивших колледжи, с музыкальным и художественным образованием, из хороших семей, с подходящими гороскопами, к тому же привлекательных на вид и с богатым приданым. Но Кит сказал, что при такой жаре не может ни о чем думать, тем более о женитьбе. Мама вздохнула и стала ждать. Начался сезон дождей, подули ветры, сгибавшие деревья и прижимавшие к земле траву и кустарники. Потом растения выпрямились, оделись зеленым нарядом; земля обновилась, воздух стал чистым и свежим. И мама пришла к нему опять. На этот раз он сказал, что это варварский обычай — жениться на девушке с приданым, что он, как и все порядочные люди, против такого обычая. Неужели он должен жениться ради денег?

Он повторял это много раз. В конце концов мама холодно, язвительно ответила, что приданое

предназначается не для него, а для поддержания достоинства его будущей жены, которой не придется выпрашивать милостыню, чтобы прокормить себя. Можешь быть уверен, сказала она, что деньги положены на ее имя, а драгоценности носить.

Кит замолчал. А время шло и шло, и мама опять подступила к нему. Он закричал: «Да не могу я так! Как можно жениться на девушке, которую даже ни разу не видел? Как можно спать с ней, называть ее своей женой? Я так не могу». Но он не сказал «я не хочу», и мама обошлась с ним деликатно. Она понимала, что он усвоил западные взгляды на брак и принуждением тут ничего не достигнешь; «Ты только выбери, — просила она. — И девушка сама придет к нам в дом. Я же не прошу тебя жениться на первой встречной». — «А если мне…» — начал было он. «Никто тебя неволить не будет, — заверила она. — Девушек-то много».

Так у нас появилась Премала. Она приехала к нам погостить вместе с матерью, у которой тоже был сын, вернувшийся из Англии, и которая отнеслась с полным пониманием к тому, что от них требовали. Не хотелось, конечно, потакать этой новой странной манере ухаживания, но

таков уж дух времени. Обе матери, проникшись взаимной симпатией, быстро нашли общий Язык и даже сумели утихомирить — хотя для этого потребовались их совместные усилия — Додамму, считавшую всю эту затею бесстыдной и опасной, что она и высказала им без всякого колебания.

Премала, конечно, знала, на что идет, знала, что ей придется пробыть у нас долго, потому что поспешность в подобных делах излишня, знала, чего от нее ждут. Но ни одна женщина в конце концов не смотрит на брак легко и просто, ибо путь к нему всегда таит какие-нибудь неприятности. А положение Премалы было вдвойне сложно, она никогда до этого не выезжала из дому и никогда ее не оставляли одну. И вот теперь, стоя рядом с ней на террасе, пока наши матери прощались друг с другом, я заметила, что она дрожит, а лицо ее мокро от пота. Только тогда я поняла, что значило для нее это испытание, поняла, какой одинокой она, должно быть, себя чувствует, и это ощущение пронзило меня, и жалость сдавила мне горло. «Слишком уж она молода», — подумала я, забыв, что сама еще моложе. Она показалась мне тогда ребенком, и это впечатление сохранилось, ибо она так и осталась беззащитной, как ребенок.

Появление Премалы, конечно, не вызвало у нас такого переполоха, как приезд Ричарда: Премала принадлежала к нашей касте, и ее привычки почти не отличались от наших. Но с Китом было иначе: несмотря на самые отчаянные усилия, приспособиться к нему ей было чрезвычайно трудно. «Прем! — кричал он. — Поехали играть в теннис!» Прохладная погода придала ему энергии и вновь возбудила жажду физических упражнений. Крутя в руке ракетку, он бегом спускался с лестницы, и они тотчас уезжали.

Когда солнце клонилось к закату, они возвращались домой; Кит бывал явно не в духе, да и Премала казалась подавленной из-за того, что плохо играет в теннис, который она к тому же всей душой ненавидит.

Было бы куда лучше, если бы она призналась в этом; но она не признавалась. Видимо, ей внушили, что женщина должна научиться быть мужу не только женой, но и товарищем.

— Знаешь что? — сказал ей однажды Кит. — У тебя получилось бы совсем неплохо, если бы не сари. Бегать в нем, должно быть, невероятно трудно.

Премала кивнула, довольная хотя бы тем, что он пытается найти ей оправдание.

— Попробуй в шортах, как Мира, — продолжал Кит. — Она тоже совсем не могла играть, пока их не надела.

— А я всегда играю в шортах, — неожиданно вырвалось у меня. — Но все равно ничего не получается.

— Ну и что? — возразил Кит. — А у тебя, Прем, получится, я в этом уверен. Честное слово. У тебя бывают отличные удары, не хватает лишь подвижности.

На следующий день Премала пришла ко мне просить шорты. Зная, что для Кита она готова на все, я ничуть не удивилась. Надевая их, она краснела от смущения; когда же ее голые ноги, прежде всегда прикрытые сари, увидел Кит, она вся залилась румянцем. Но это проявление скромности, обычно украшающее женщину, у Кита не нашло никакого одобрения.

— Да что ты, Прем, в самом деле! — воскликнул он, и в голосе его прозвучали веселое удивление и досада одновременно. — Тебе кажется, что ты неприлично одета? Но ведь в шортах гораздо легче играть, вот увидишь.

Не знаю, стало ли ей удобнее и легче играть в теннис, только выезжали они все реже и реже. Видимо, свобода движений, которую она обрела,

надев шорты, не пошла ей на пользу: смущение ее оказалось гораздо худшей помехой, чем сари.

Еще одним тяжелым испытанием для нее были посещения клуба: как и я, она не знала, что там делать и о чем говорить. Ее положение было даже хуже моего, ведь я бывала в клубе много раз, а она попала туда впервые. В Индии невозможно усвоить все тонкости европейских обычаев; тем более трудно это было семье Премалы, менее европеизированной, чем моя семья. Глядя на нее, смущенную, не знающую, куда деть руки, с натянутой улыбкой на губах — в то время, как остальные непринужденно смеются, — или молча сидящую со скорбным выражением лица и опущенными глазами, я чувствовала, как расту в собственных глазах. Моя уверенность в себе питалась ее слабостью, мне даже стало казаться, что я чуть ли не светская дама; да, собственно, в сравнении с Премалой, так оно и было.

Если бы Кит знал, как страдала Премала, думаю, он не возил бы ее в клуб. Но откуда ему было знать? Ему нравилось общество, нравились выезды, он не был робок, и если когда-то страдал застенчивостью, то давно уже забыл об этом. Сам он нравился людям своей веселостью, приятной наружностью, умением держать себя. Кроме того,

он жил в Англии и благодаря этому находился на высокой ступеньке общественной лестницы (выше была лишь та, на которой стояли англичане), к тому же и вернулся оттуда совсем недавно. А в нашем кругу всякая, даже малозначительная связь с Англией внушала уважение, симпатию — во всяком случае, среди завсегдатаев клуба. Они тянулись к моему брату, звали его в свою компанию, тащили в бар или в бильярдную, просили повторить какой-нибудь анекдот; Кит со смехом откликался на приглашения и, стоя на вершине своей популярности, не находил времени посмотреть на холодные, унылые скалы внизу.

Премала не жаловалась. Она думала, что поступает правильно, сопровождая его, и всякий раз, когда он ее звал — иногда это случалось дважды-трижды в неделю, — она отвечала, что с удовольствием поедет. Но как было юной, неоперившейся, не овладевшей искусством притворства (это искусство приходит лишь после многократных горьких испытаний, да и то не всегда) девушке скрыть свое настроение? Нужные слова она еще как-то находила, а вот придать своему голосу соответствующий тон не умела. Сконфуженный румянец, выражение глаз всякий раз выдавали ее неискушенность.

Если мои родители и замечали что-нибудь, то молчали. Им казалось совершенно нормальным, что Премала старается угодить их сыну. Говинд относился к этому иначе, но и он не высказывал своего мнения прямо.

— Не так уж это необходимо — бывать в кругу англичан, — сказал он однажды, окинув Премалу суровым взглядом.

— Верно, — согласилась она. — Но это может оказаться полезным.

— Тебе?

Она молчала. Говинд повторил вопрос:

— Тебе полезно?

— Да, мне.

Но этот ответ его не удовлетворил.

— Глупо принуждать себя. Нельзя…

— Почему же не попытаться? — спокойно возразила она. — Плохая из меня получится жена, если я не буду пытаться.

Он молча посмотрел на нее, потом тихо ответил:

— Ни один мужчина не пожелал бы лучшей жены.

К концу месяца не было в нашей семье человека, который не отзывался бы о невесте моего брата с любовью: так она была учтива, скромна

и ласкова в обращении. И Додамма, не умевшая скрывать мысли, которые другие считают более уместным держать при себе, сказала, что из Премалы выйдет хорошая жена.

— И возраст у нее подходящий, — с удовлетворением заметила она. В глазах ее мелькнул красноречивый, почти бесстыдный огонек. — Хороша, как только что распустившийся цветок. К тому же уступчивая, мягкая, мужчины таких любят.

Мама кивнула.

— Что ж, семнадцать лет — хороший возраст, — сказала она как бы про себя. — Правда, для него чуточку молода, но потом разница в годах сгладится. Опасаться ей нечего — стареть-то вместе будут.

Вскоре все уже знали — и радовались, что Премала будет женой моего брата. Даже мама, считавшая, как все матери, что нет на свете девушки, вполне достойной ее сына, казалась удовлетворенной. И когда она назвала октябрь, как возможный срок свадьбы, Кит сразу согласился.

— А у тебя нет никаких сомнений? — озабоченно спросила она, испытующе вглядываясь в его лицо. — Или ты идешь на это только ради меня?

— Ради тебя я готов идти на все, — игриво ответил он. — Но тут у меня действительно нет сомнений.

— Правда?

— Правда, дорогая. Никаких.

Но мама все еще сомневалась и коснулась кончиками пальцев его лица, как это делают слепые, когда хотят убедиться в искренности своих любимых. Желая еще раз проверить себя, она спросила:

— Она тебе действительно нравится? Не ошиблась твоя мать в выборе?

— Нет, выбрала ты удачно. Премала очень мне нравится.

Я знала, что Премала ему нравится, как и всем нам. С тех пор как она к нам приехала, он перестал хандрить. Приступы угрюмой раздражительности случались с ним все реже и реже — казалось, к нему возвращается прежняя жизнерадостность. Вне стен клуба он чувствовал себя в обществе Премалы почти счастливым и любил с ней беседовать, потому что она умела слушать. Он гордился ее достоинствами, восхищался ее красотой. Чего же не хватало ему в девушке, которую он собирался назвать своей женой? Я внимательно наблюдала за ним, ища ответа, и не

находила: он наглухо запер тайники своей души и бдительно охранял их.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Хотя до свадьбы оставалось два месяца, приготовления к ней уже начались, ибо предстояло еще многое сделать. Мать Премалы писала нам, что очень хочет помочь. Но беда в том, — с некоторой горечью объясняла она, — что младшие сыновья ходят в школу, а муж говорит, что нельзя мешать их учебе. С собой она взять их не может, а оставить с ним он не позволяет. Очень уж мужчины несговорчивы, да и руки у нее связаны.

Обязанности, которые обычно ложатся на плечи матери невесты, взяла на себя — без особых возражений — моя мама. Со дня на день ждали прибытия ювелиров, хотя не было никакой уверенности в том, что они приедут: хороших ювелиров немного, люди они капризные, и залучить их нелегко. Когда же они наконец приехали, она вместе с Премалой изучала каталоги, рассматривала драгоценные камни, вдавленные в воск (так лучше видна форма), и спорила о преимуществах той или иной огранки. Вдвоем они наносили визиты родственникам — акты вежливости, которыми не только нельзя пренебрегать,

но которые следует осуществлять очень тщательно и с соблюдением всех правил, ибо от этого зависит отношение родных к молодой чете.

И, конечно, покупки: браслеты, сари, сандалии, серебряные и медные украшения, мыла, благовония. Весть о предстоящей свадьбе распространилась по всей округе, и к нам потянулись уличные торговцы. Они раскладывали на верандах свой товар и скромно усаживались рядом. Спокойные, терпеливые, они могли ждать часами: как и у бродяг, у странствующих торговцев времени всегда сколько угодно. Иногда их терпение вознаграждалось, и либо мама, либо Премала покупала отрез натурального шелка у улыбающегося услужливого китайца, шелковое сари у купца из Бенареса или выбирала из груды сверкающих хрупких изделий несколько разноцветных браслетов.

Все эти хлопоты почти не оставляли маме времени для занятий домашним хозяйством; Премала и Додамма тоже завязли в делах, и значительная часть обязанностей по дому легла на меня. Так что и я оказалась загруженной непривычной для себя работой.

Каждое утро мне приходилось следить, как доят коров, не разбавляют ли молоко водой,

прокипячено ли молоко к завтраку, запасена ли на весь день кипяченая вода, — одним словом, я делала то, что нельзя доверять слугам. Потом надо было отпустить фураж и провизию: сено для коров, жмых для коз, овес для лошадей, рис и пшеничную муку — для всех нас. Фрукты и овощи полагалось промыть в марганцевом растворе — таково было непреложное требование отца. И ездить за ними на рынок приходилось тоже самим — таково было требование мамы. По сравнению со всем этим, приготовления к приезду Кита, как бы внушительны они ни были, казались детской игрой. Тогда, как я теперь думала, у нас в доме была тишь да гладь.

— Через год все это начнется сначала, — угрюмо сказал Говинд. Я с удивлением посмотрела на него. Он улыбнулся. — Семнадцать лет — возраст подходящий, разве ты не слышала? Скоро твоя очередь.

— Сначала ваша, — возразила я. — Вы же старше меня.

— Но ты — женщина.

— Ну, знаете ли, некогда мне с вами болтать, — .выпалила я. — *И* без того забот хватает. — И с этими словами вылетела из комнаты.

За дверью стояла Додамма.

— Милая моя девочка, я почти не вижу тебя последние дни, — ласково пропела она. — Ты занята?

— Да, — ответила я, сдерживаясь, чтобы не бросить язвительное замечание. Если б я сказала «нет», она придумала бы для меня какое-нибудь занятие.

— А ты лучше выглядишь, когда занята, — заметила она. — И мечтать стала меньше.

— Откуда вы знаете?

— Времени на это не хватает, — ответила она, потирая руки от удовольствия.

— Было бы очень хорошо, — наморщив лоб, сказала мама, — если бы ты отпросилась на несколько дней» Дома много дел» Ты бы поговорила с директором колледжа, а?

При иных обстоятельствах я обеими руками ухватилась бы за это предложение. Я не испытывала к колледжу ни любви, ни ненависти, — ходила туда, да и все. Но сейчас я думала иначе.

— Зачем? — спросила я. — Это же не моя свадьба.

— Я полагала, тебе легче будет, — спокойно ответила она. — Да и мне было бы хорошо с тобой.

— А как же я сдам экзамены?

Наступило молчание. «Так ли уж это важно?»

— спрашивали ее глаза. «Для меня — да», — отвечали мои. Однако вслух мы ничего не сказали.

— Мне кажется, ты переменилась, — медленно выговорила мама, — с тех пор, как приехал… Китсами.

Было ясно, что, называя Кита, она имела в виду Ричарда. Я с удивлением поняла, что она права, но до ее слов мысль эта ни разу не приходила мне в голову. Прежде я не придавала особого значения приезду Ричарда; это была для меня просто дата для отсчета времени. Но мама усматривала во всем этом особый смысл.

Время шло, и в доме стало многолюднее, чем когда-либо. Самые большие комнаты решено было отремонтировать, и там уже трудились маляры и штукатуры. Садовник и сторож давно уже отчаялись и перестали отгонять деревенских мальчишек, которых невозможно было отличить от детей рабочих. Летом, в пору созревания манго, сад охранял гуркх[9]-сторож, которого специально нанимали для этой цели. Широкоплечий, приземистый, с узким разрезом глаз, этот человек наводил ужас — за что ему и платили деньги

[9] Примечания: 9

Гуркхи — так называют жителей Непала, находящихся на военной службе в английской и индийской армиях или поселившихся после окончания второй мировой войны за пределами своей родины.

— своим диким рычанием и коротким кривым ножом «кукри», пристегнутым к поясу либо, для большей острастки, отстегнутым. Но сейчас ребятишек никто не отгонял, и они либо бегали по саду, либо сидели, чирикая, как птицы, на стене. Фрукты, конечно, были недоступны даже самым смелым и ловким, но на кухне всегда оставалась еда, поскольку готовить приходилось помногу, чтобы все были довольны и не жаловались на скупость хозяев.

Они ждали, настороженные даже во время игры, эти озорные смуглые мальчишки, истощенные постоянным голоданием. Несмотря ни на что, глаза у них весело поблескивали. Из-за этих сорванцов и произошла ссора, нарушившая радость предсвадебной суеты в нашем доме.

Наблюдая ежедневные потасовки детей из-за кухонных отходов, Премала глубоко огорчалась: очевидно, ей не приходилось видеть голодных. Богатые родители, слуги, уютный дом, автомобиль, каменная ограда — все это удерживает нищету на почтительном отдалении. Впечатление такое, будто вы видите нищету, ощущаете на себе ее укоризненный взгляд — подобно тому, как спящий воспринимает проплывающие во сне образы, — однако полного понимания нет,

реальность остается неосознанной.

Увидев голодных детей, неискушенная в житейских делах Премала простодушно предложила накормить их. Эта мысль чревата такими опасными последствиями, что ее редко высказывают вслух. Можно накормить детей сегодня, но что будет завтра и послезавтра? Если накормить несколько человек сегодня, то сколько их придет завтра? Сотня? Легион? Бессчетное множество? Вопросов, на которые нельзя ответить, никто не задает. Но иногда этот моральный принцип, которого придерживаются все порядочные люди, нарушают либо по наивности, либо по злому умыслу. И когда это случается, люди звереют, потому что аккуратно прикрытые парализованные конечности внезапно обнажаются, и они чувствуют сильную боль.

Моих родителей при этом разговоре не было. Ответил Премале старший дядя.

— Нелепое предложение, — хмуро сказал он и отвернулся, давая понять, что говорить больше не о чем.

— Да они нас съедят с потрохами! — воскликнула Додамма. — Ты что, рехнулась, девушка? Это все равно, что кормить целое стадо обезьян.

— Или рой саранчи, — добавил дядя, не устояв

перед соблазном ввернуть что-нибудь язвительное.

Я уже упоминала о послушании и уступчивости Премалы. Но, как это иногда бывает, ее покладистость объяснялась не робостью, а врожденной добротой. И тут она, забыв о долге вежливости и почтительности к старшим, с упреком сказала:

— Но это же не обезьяны и не саранча, а дети.

Все с оскорбленным видом молчали. Кит раздраженно сказал:

— Пожалуйста, сдерживай свои чувства, Прем. Есть же предел сентиментальности.

— В том, что я назвала детей детьми, нет никакой сентиментальности, — не сдавалась Премала.

— Но надо же соблюдать чувство меры, — возразил Кит тоном человека, который пытается смотреть на вещи здраво. — Ну, начнешь ты их кормить, а потом что?

Молча слушавший их разговор Говинд скривил рот в насмешливой улыбке и сказал Премале:

— А зачем вообще начинать? Может быть, ты рассчитываешь на благодарность за эти крохи с твоего стола? Или хочешь прослыть благотворительницей?

Не знаю, в каком огне были выплавлены эти

разящие, как стальной меч, слова. Даже не верилось, что так мог сказать Говинд, который относился к Премале добрее всех нас, понимая, видимо, лучше других, как легко она ранима. И все-таки их сказал он.

Премала метнула на него быстрый взгляд и смутилась: только тогда осознав значение его слов, она медленно, совсем по-детски прикрыла рукой глаза, и лицо ее как-то странно увяло. Сопротивление ее было сломлено, и она ничего больше не сказала.

Наступило молчание — тягостное, безобразное, тревожное, чреватое дикими выходками. Кит в ярости закричал:

— Да ты понимаешь, с кем говоришь? Она моя невеста! Премала выходит за меня замуж, ты это знаешь?

— Разумеется, — холодно ответил Говинд. Он старался сдержать себя, но его старания только раздражали Кита.

— Так изволь разговаривать с ней уважительно! — Голос Кита становился все звонче. — Помни, кто она и кто... — Он осекся, не решаясь произнести жестокие слова, которые вертелись у него на языке.

Они смотрели друг на друга. Кит — сверкал

глазами, щеки его пылали, Говинд сурово хмурил брови; кровь отхлынула у него от лица, оно было пепельно-серым.

— А я и не забываю, — вымолвил он наконец. Он уже овладел собой. — Я знаю, кто она и кто я.

Я больше не желала слушать — и без того уже было сказано слишком много. Другие поддержали меня. Поднялся общий гвалт, голоса становились все громче. Особенно выделялись пронзительный крик Додаммы и громкое ворчание старшего дяди. Мама, которая сидела с ювелиром на веранде, поспешила к нам. При виде двоих разъяренных молодых людей лицо ее вытянулось, но она подошла не к Киту и не к Говинду, а к Премале, обхватила ее рукой и притянула к себе. Весь свой гнев она обратила на мужчин.

Я долго искала Говинда, пока не нашла его в дальнем, не огороженном конце сада — там, где начинались дикие заросли. Здесь росли магнолии, колючий кустарник и высокие толстые побеги травы; разнообразные ползучие лианы, отяжелевшие от влаги, спутали траву, оплели кусты, обвили стволы деревьев, превратив растительность в непроходимую зеленую массу, буйно вздыбившуюся, как морская волна, после

недавних дождей.

Когда я подошла к нему, он не взглянул на меня и не сказал ни слова, только чуточку подвинулся, уступая мне место на бревне. Оно уже давно здесь лежало, это бревно. Но его было трудно заметить, поэтому его так и не распилили на дрова или для других нужд. Бревно, одетое толстым слоем мха, было прохладным и влажным, и от него еще пахло дождем. Я села рядом с Говиндом и, сбросив сандалии, стала голыми ступнями на бархатистую поверхность. Мы молчали, но молчали как добрые друзья; это молчание успокаивало, словно тихая монотонная песня, в нем слышался шум крыльев и шелест ветра в траве.

Как долго мы там пробыли? Не знаю. Мне это время показалось мгновением — не более. Потом я услышала, как чей-то голос позвал меня, и, судя по тону, уже не в первый раз; я поспешно встала и оглянулась: это был Говинд. Задумчиво, еле слышно он произнес:

— Должно быть, я люблю ее, если испытываю такое желание причинять ей боль.

Я с удивлением смотрела на него, а он поднял на меня глаза и со странной усмешкой сказал:

— Ну, вот тебе еще одна причина для беспокойства.

— Почему вы так думаете? — спросила я.

— По тебе вижу, — ответил он. — И ты тоже против меня, милая?

Я отвернулась и пошла домой. Он шагал рядом и, когда мы уже подходили к дому, сказал, на этот раз шутливо:

— Не позволяй мне обижать тебя, я ведь тебя тоже люблю.

Но когда человек высказался от чистого сердца, ему уже нелегко потом опровергнуть свои слова. Здесь не поможет ни шутливое «тебя тоже», ни наигранная патетика, ни насмешка, ни тем более отрицание. Правда есть правда, а все остальное — лишь пустые отговорки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несмотря на то, что подготовка к свадьбе началась заблаговременно, она не прекращалась до последнего дня. Оставалось меньше недели, а драгоценности, заказанные для Премалы, все еще не были готовы, свадебное сари еще не кончили вышивать, фаянсовая посуда застряла где-то в пути, а на кухню не доставили еще никаких продуктов, кроме небольшого мешка риса, и повара грозились бросить все и уйти.

У индусов стало почти традицией вести приготовления к свадьбам в ужасной спешке до самой последней минуты; кажется, они даже бывают недовольны, если гонка прекращается раньше, чем наступает торжественный момент. Естественно, что и у нас все метались по дому— потные, измученные, раздраженные. Ювелиры работали до полуночи, а для изготовления гирлянд пришлось позвать еще несколько цветочниц. Мама была так занята, что не успевала поесть, а отец заперся у себя в кабинете и не показывался.

Мама сказала Киту, что он может пригласить,

кого захочет, ей только надо знать количество гостей. Кит составил список и первое время аккуратно отмечал принявших приглашение. Но рвения его хватило ненадолго, и когда наступил день свадьбы, никто толком, включая самого Кита, не знал, сколько же будет гостей.

— Я, как и ты, не имею об этом никакого понятия, — со смехом сказал Кит маме и с покаянным видом добавил: — Дорогая, я очень виноват.

Было в Ките нечто такое, что не позволяло на него сердиться. Он буквально обезоруживал вас. Мама была очень расстроена и хотела сделать ему выговор, но вместо этого невольно улыбнулась.

Однако, зная Кита, можно было предположить, что он пригласил самый широкий круг друзей. И это предположение подтвердилось.

На самой свадьбе, разумеется, присутствовали только индусы, да и то в большинстве своем родственники. Но после свадьбы состоялись два приема, на которые были приглашены и мусульмане, и парсы, и много англичан обоего пола. «Мы вместе учились в Оксфорде», — говорил Кит о ком-нибудь из них, или: «Мы плыли на одном пароходе», или: «Познакомились на вечеринке в Лондоне». Это были опорные пункты его знакомств, хотя он и по возвращении на родину

успел приобрести немало друзей.

Естественно, в большинстве своем это были те, кого наши родственники, не без скрытого осуждения, относили к категории «ультрамодерн»: молодые люди в европейских костюмах, с чистым английским произношением, гордящиеся своим свободомыслием и несколько (совсем немного) хорошо владеющих собой девушек с короткими прическами и передовыми взглядами, которые они не боялись обнародовать. Но всех их затмевала Рошан в своем шифоновом сари, отливавшем всеми цветами радуги, сандалиях, украшенных фальшивыми бриллиантами, с яркими, точно цветы герани, губами.

Рошан всегда производила необыкновенно сильное впечатление. Много лет спустя мне довелось увидеть ее в дешевеньком сари из домотканой материи и с порыжелыми от пыли волосами, а потом я увидела ее в тюрьме: па губах ее не было никаких следов помады, а кожа на лице погрубела, но никогда, ни при каких обстоятельствах она не утрачивала этой способности привлекать к себе всеобщее внимание.

— Рошан Мерчант, — небрежно представил нам ее Кит. — Мы встречались в Англии. Тогда она писала стихи. Чем занимается сейчас — не знаю.

Но уверен, чем-нибудь совершенно необычным.

— Прежде я считала себя поэтессой, — весело сказала Рошан. — Но никто другой не разделял этого мнения, и мне пришлось избрать себе другое занятие. Теперь я обозреватель.

— Обозреватель? — В голосе Кита звучала ирония. — А ваши обозрения кто-нибудь читает?

— Нет, — вздохнула Рошан. — Но будут.

По лицу мамы видно было, что она еще не определила своего отношения к Рошан. Да, она «ультрамодерн», но в ней нет ничего вызывающего, она тоже «передовая», но не отдает себе в этом отчета, поэтому никому не действует на нервы. Но что значит «обозреватель»? К тому же Кит, представляя ее, даже не намекнул относительно ее положения: замужем она или нет? На вид ей лет двадцать восемь, не меньше, — значит, в невесты она давно уже не годится. Но если она замужем, то где ее муж?

Мама вознамерилась выяснить этот важный вопрос немедленно.

— Должно быть, трудно одной-то путешествовать? — вежливо поинтересовалась она.

— Нет, что вы, — ответила Рошан. — Мне не привыкать.

— А вы всегда… одна путешествуете? — не уни-

малась мама.

— Когда как, — с улыбкой ответила Рошан. — Это зависит от моего настроения.

Мама, не удовлетворенная ответом, сделала еще одну попытку:

— А как вы живете? — уже без обиняков спросила она. — На свой заработок?

Рошан посмотрела на нее с непритворным простодушием.

— Я как-то об этом не думала, — призналась она. — Газета, в которой я работаю, принадлежит мне, но да разразит меня бог, если я знаю, приносит ли она достаточный доход. Я ведь ничего не смыслю в бухгалтерии.

После свадьбы мы пригласили Рошан погостить у нас несколько дней, и я пошла с ней наверх — показать ее комнату. Когда мы остались одни, она с усмешкой заметила:

— Боюсь, твоя мама не удовлетворена моими ответами, а?

— Я тоже боюсь, — согласилась я и невольно улыбнулась.

— С мужем своим я рассталась. Но мне не хотелось ее шокировать. А ведь она была бы шокирована, правда?

— Да, — честно призналась я.

— В таком случае я постараюсь держать язык за зубами. Только мне это плохо удается.

Это была правда: хотя далеко не всем удавалось вызвать ее на откровенность, слишком долго обманывать она не умела — честность не позволяла, да и лень было. Поэтому она скоро призналась, что у нее был муж.

— Мы с ним уже много лет не живем, — сообщила она. — Все время ссорились, когда были вместе, а теперь, как ни странно, мы самые добрые друзья.

Такое отношение к браку мама считала легкомысленным и не одобряла; она испытывала к Рошан неприязнь и за все время их знакомства ни разу не вышла за рамки официальных, холодно-вежливых отношений.

Но мне Рошан нравилась: было в ней что-то непокорное и бесстрашное, легко угадывавшееся под яркой внешностью; и я восхищалась мужеством, с каким она сносила свое одиночество. Я знаю, что она и Премале понравилась, и если бы пожила у нас подольше, они могли бы близко сдружиться. Даже Говинд, и тот смягчился настолько, что нашел ее привлекательной.

Однако благорасположением старших она не пользовалась. По-видимому, они догадывались,

что она не побоится посягнуть на их авторитет и не станет повиноваться голосу благоразумия. И чем больше они нервничали, боясь, как бы она не увлекла нас на неверный путь, чем больше старались уберечь нас от ее влияния, тем сильнее мы к ней привязывались.

Лично я всегда буду благодарна Рошан. Благодаря ей я нашла дорогу во внешний мир. И хотя жаль было расставаться с отчим домом, с мирной размеренной жизнью, с нежным сельским колоритом, с прелестными видами, с множеством привычных запахов, хотя я променяла все, что так любила, на жизнь в унылом пыльном городе, все же я считаю, что игра стоила свеч: я подошла к воротам, ведущим к свободе мысли, и перед моим зачарованным взором открылись необъятные дали.

Киту не очень-то нравился сложный ритуал бракосочетания. Будь его воля, он провернул бы всю эту процедуру за один день, а то и — еще лучше — за полчаса, ограничившись посещением местного бюро регистрации. Однако на него ополчились обе стороны, и он вынужден был уступить; не так-то легко противостоять коллективному мнению.

Если бы речь шла о чем-то более важном, то

он, может быть, все же воспротивился бы, а тут — решил покориться традиции. Как ни старался он не выдавать своих чувств, ему это так и не удалось. На лице его было написано снисходительное презрение с тенью насмешливой враждебности. Ни слуги, суетившиеся возле него, ни родственники, читавшие ему наставления, ни священнослужители, молившиеся за него и принуждавшие выслушивать советы и указания, не хотели считаться с тем, как трудно ему все это выдержать.

Новобрачной тоже, наверно, нелегко было высидеть целую неделю под неотрывными взглядами толпы — взглядами, иногда осторожно-любопытными, иногда откровенно-оценивающими, в большинстве же своем — угодливыми и выжидательными. Но она была скромна и покорна и не жаловалась, на утомительность церемоний, к тому же она знала, сколько удовольствия доставляет ее и моим родным это свадебное торжество, справляемое неторопливо, с соблюдением всех обычаев, и не хотела портить им удовольствие.

Что бы она ни думала о бесконечных формальностях, религиозный обряд, как таковой, не вызывал у нее протеста. Наоборот, я несколько раз наблюдала, как самозабвенно она молится, —

закрыв глаза, забыв о присутствии посторонних, с тем выражением отчаянной мольбы, какое бывает иногда на лицах маленьких детей.

В последний день, когда Кит уже собрался повязать ей тали[10], она отвернулась, закрыла лицо руками и, склонив голову, погрузилась в молитву. Несколько минут она молилась, не обращая внимания ни на священнослужителя, ни на кого-либо другого, потом выпрямилась, бледная, спокойная, тихая, повернулась лицом к Киту, обнажила шею, давая повязать тали, и улыбнулась ему так, словно в зале, кроме него, никого не было.

Снова заиграла умолкшая было свадебная музыка, и к новобрачным устремились люди, поздравляя и благословляя их. Обе матери стояли рядом — растроганные, заплаканные и в то же время счастливые, как все женщины, чьи дети женятся или выходят замуж. И оба отца стояли рядом — сдержанно-приветливые, как все мужчины, которые еще недавно не были даже знакомы, а теперь вдруг породнились.

---

[10] Примечания: 10

Тали — особый знак, который носят замужние женщины на шнурке.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В конце года Кит получил назначение и уехал, оставив Премалу у нас до тех пор, пока его не переведут в какое-нибудь более подходящее место. Она хотела с ним ехать и просила его взять с собой, но он отказался («Не повезу же я жену в такую глушь!»), хотя должен был жить почти в таком же городке, как и наш, только чуть меньше. Условия жизни в тех краях, заявил он, не такие, к каким привыкла Премала; в эти условия он не поставит ни одну женщину, тем более собственную жену. После его отъезда воцарилась унылая, безрадостная пустота. Жизнь наша потекла спокойнее, но в доме стало как-то сумрачно, точно из него вынесли светильники. Но прошло какое-то время, веселье снова озарило нас своим светом, и скоро мы зажили, как прежде.

Говинд тоже решил уехать и попросил разрешения родителей. Конечно, это был только вежливый жест с его стороны, так как ему уже исполнился двадцать один год (празднование его совершеннолетия было отложено из-за свадьбы); мама понимала это и все же попробовала его

отговорить.

— Нет никакой нужды хвататься за первую попавшуюся работу, которую тебе предлагают, — сказала она. — Не лучше ли подождать? Ты молод, еще успеешь.

— Я могу потерять это место. Что тогда?

— Будут другие места. Еще лучше.

— Это не первая попавшаяся работа, — спокойно возразил он. — Мне предлагают именно то, чего я хочу. Другой такой возможности может уже не быть.

Помолчав, мама ласково сказала:

— Ты думаешь, мы не позаботимся о тебе? Думаешь, нам будет приятно, если. ты не устроишься на хорошую работу?

— Нет, — задумчиво ответил он. — Я так не думаю. Только ваши взгляды не совпадают с моими. Ваш выбор может мне не понравиться.

Мама растерянно посмотрела на него и печально покачала головой, как это делают женщины, когда не в силах понять своих выросших детей. Больше она ничего не сказала.

После этого Говинд разговаривал с отцом. Тот сказал, что ни один человек не может решать за другого.

Но Говинд все же хотел знать его мнение, и он

посоветовал подождать с отъездом:

— Через шесть месяцев ты получишь степень. А она не помешает.

Это было все. Говинд задумался: он знал, как и все мы, что отец меньше всего заботится о собственном покое и выгоде, поэтому он сказал, что обдумает все еще раз.

Прошла неделя, а Говинда все не было видно. Хотя он исчезал уже не первый раз, его отлучки никогда не бывали столь длительными. Мама тревожилась: нашел ли он себе подходящее жилище (точно вся наша страна— сплошная глухомань!) и кормят ли его по-человечески. Она даже отправила несколько слуг на порски, и те, весь день проболтавшись, к своему удовольствию, в соседней деревне, к ночи вернулись домой. Рассказ о своих утомительных розысках они оживляли выдумками. Люди будто бы видели, как Говинд проезжал через какое-то селение, или ехал в междугороднем автобусе, или садился в поезд, следовавший на север.

В конце второй недели он вернулся, угрюмый, замкнутый, и объявил, что решил не уезжать до будущего года, пока не получит ученой степени. Мы так и не узнали, куда и зачем он ездил, вид у него был такой неприступный, что никто из нас

не осмелился его расспрашивать.

Его решение устраивало обоих моих родителей, но по разным причинам. Маму — потому, что ей трудно было бы расстаться сразу с двумя сыновьями (Говинда она всегда считала своим сыном); с отъездом Кита в доме воцарилась гнетущая атмосфера, стало совсем пусто и одиноко. Отец полагал, что так лучше для самого Говинда. Когда речь шла о другом человеке, соображения уместности, целесообразности или выгоды не имели в его глазах никакого значения. Отец даже заглушал в себе естественное беспокойство за судьбу этого человека.

Оглядываясь теперь назад, я удивляюсь: как это они оба не предвидели опасности, которой Говинд мог бы избежать, если бы они не удержали его тогда при себе, опасности, от которой сама судьба, кажется, хотела оградить его, послав ему работу? Но они действительно не предвидели опасности, и судьба зло посмеялась над нами: когда каждый из нас — Говинд, Премала, Кит, Рошан, Ричард и я — пошел своей дорогой, она расставила свои сети и захватила нас всех сразу. Никому из нас так и не удалось вырваться на свободу. Да и вряд ли можно было проскочить сквозь такие мелкие ячейки!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Приезд и отъезд Кита, пребывание у нас Ричарда, наезды родственников и свойственников, а главное, свадьба — все это так ускоряло бег времени, что мы не успевали переводить дух. И только теперь жизнь вошла в свою колею. Последующие шесть месяцев протекли спокойно.

Подошел Новый год, год моего семнадцатилетия. Отец никогда и ни в чем мне не отказывал. Ко дню рождения Он купил мне велосипед. «Ну, что она с ним будет делать? — недоумевала мама. — Ведь у нас же есть автомобиль». — «А я не знаю, — ответил отец. — Ничего лучшего я не мог придумать». От мамы я получила золотой соверен для своего монисто, где уже висело шестнадцать таких же монет. Додамма подарила мне кухонные принадлежности, пополнив коллекцию посуды, которую я возьму с собой в дом будущего мужа, а Кит с трехнедельным опозданием прислал мне сари из великолепной, радужной, переливающейся, как голубиная шея, ткани. Когда я извлекала ее из муслиновой обертки, выпала плоская коробочка. Я подняла

ее и открыла: в ней лежала резная фигурка той самой богини, чье гипсовое изваяние Ричард кинул тогда со скалы; но эта вещица была сделана чьими-то любовными руками из белой слоновой кости и укреплена на золотой подставке. Мне хотелось поставить ее на видном месте, чтобы она постоянно напоминала о себе, но потом я решила, что это вряд ли разумно: что, если меня заставят отослать подарок обратно, ведь он получен от чужого мужчины? Я с огорчением положила фигурку обратно в коробочку и спрятала в шкафу у себя в спальне. Остаток дня я провела взаперти, боясь выдать своим сияющим видом охватившую меня радость.

Миновал Новый год, за ним пришел Новый год телугу, а потом и тамильский Новый год: в Индии год празднует много дней рождения. Кончилась весна с ее прохладой и мягкой свежестью, с набухающими и уже распускающимися почками, подули суховеи, в растениях заиграли соки, просохла почва, на особенно теплолюбивых деревьях под лучами добела раскаленного майского солнца появилось множество бутонов, готовых вот-вот вспыхнуть красным или синим пламенем. В это время мы, как обычно, отправились в горы («мы» — это мои родители, Премала,

Говинд, я, полдюжины слуг, кошки, собака и хохлатый какаду).

Додамма, по обыкновению, осталась дома. «Не сахарная, не растаю», — сказала она. Она говорила так всякий раз, когда мы уезжали в горы. Эти ежегодные переезды раздражали ее. Она считала, что нам не пристало уподобляться европейцам. Впрочем, не так уж и плохо, что она оставалась дома, — надо же было кому-то присматривать за домашними животными, которых мы не могли брать с собой.

В том году дождливый сезон пришел в горы рано, и мы бежали оттуда до того, как начались бури, когда целую ночь не утихает скрип голубых эвкалиптов. Когда мы спустились в долину, там был еще разгар лета. Хотя небо заволокло тучами, дождя не было. Стояла нестерпимая духота, ссохшаяся земля стала коричневой. Но в конце июня полили дожди, коричневый цвет уступил место зеленому, а зеленый, потемнев, сделался изумрудным, и опять началась весна — вторая буйная весна с пышными всходами.

В следующем месяце Говинд сдал выпускные экзамены и почти сразу же уехал работать. Что это была за работа, никто не знал. Когда его спросили, он ответил очень уклончиво. Его спросили

еще раз, и он сказал маме, что это общественная работа. Мама забеспокоилась и поговорила с отцом. Но все, что тот сказал, было: мужчина должен делать то, что ему положено, не отчитываясь ни перед кем, кроме себя самого. Высказывал он и другие мудрые мнения, которые, к сожалению, так и не пригодились.

— Ты мне только скажи, — мама с тревогой посмотрела на Говинда, — будет ли твой заработок соответствовать твоей квалификации и… воспитанию?

— За то, что я буду делать, плата вполне справедливая, — ответил он.

— Но жалованье приличное? — не отступала мама.

— Жалованье такое, что не разжиреешь, — сказал он, и лицо его, что случалось редко, осветилось слабой улыбкой. — Но мне хватит.

Не успели мы свыкнуться с мыслью о его предстоящем отъезде, как он уже уехал, — уехал на день раньше, чем мы предполагали. Так что торжественные проводы, которые мы хотели ему устроить, не состоялись. В некотором отношении разлуку с ним я переживала даже сильнее, чем с Китом: Кит долгое время находился в Англии, я привыкла к его отсутствию, да и вообще-то с

тех пор, как *ц* себя помню, мы виделись не так уж часто, а с Говиндом я жила под одной крышей всю свою жизнь (он приехал к нам за год до моего рождения), и он никогда не уезжал из дома надолго.

Не прошло и недели после отъезда Говинда, как неожиданно явился Кит. Дело было утром.

— Вот так сюрприз! — воскликнула мама, обнимая его. И с укоризной добавила: —Что же ты заранее-то не сообщил? Вот ведь вы какие, молодые люди, никогда ничего толком не скажете!

В голосе мамы слышалась досада. Неожиданный отъезд Говинда не позволил устроить ему подобающие проводы, а теперь неожиданно нагрянул Китсами, и ему тоже не устроили подобающей встречи.

— Но я же сообщил, — возразил Кит, недовольный тем, что ему пришлось добираться домой пешком.. — Я же телеграмму послал.

Телеграмма пришла только на следующий день, когда Кита уже и след простыл: ему дали отпуск всего на один день, чтобы он мог взять с собой Премалу.

— Меня перевели, — объяснил он ей и назвал город, в который его перевели. — Думаю, тебе там понравится— место приличное. И дом хороший.

Сам я его, правда, еще не видел, но человек, который только что оттуда уехал, описал мне его в письме.

— Мы будем жить там постоянно? — спросила, улыбаясь, Премала и села у его ног.

— Ну, конечно же нет! — ответил Кит. — На государственной службе такого не бывает. Но года два, по крайней мере, проживем. Это будет чудесно. Мне просто не терпится добраться туда.

До этого мне ни разу не приходилось слышать, чтобы он с подобной теплотой говорил о каком-либо месте в Индии: обычно все его восторги и симпатии были обращены на Запад. Видимо, после жизни в захолустье он готов был оценить достоинства любого крупного города.

— Когда же я к тебе приеду? — спросила Премала, прислонясь головой к его колену. — Скоро ли?

— Через тридцать шесть часов, если поезд не потерпит крушения, — с улыбкой ответил Кит. — Я заказал билеты на сегодняшний вечерний экспресс.

— Как! — с испугом воскликнула Премала и выпрямилась. — Как же я смогу?.. Когда же я буду укладываться, и?..

— Если будешь вот так сидеть, то, разумеется,

не успеешь, — перебил ее Кит.

— Что за легкомыслие! — запротестовала мама. — Ну как бедная девочка управится за такой срок?

— А слуги зачем? — возразил Кит.

— Ты же прекрасно знаешь, — холодно ответила она, — как опасно доверяться слугам.

— Знаю, дорогая, — Согласился Кит. — Конечно, слуги не могут сделать так, как ты. Но ведь и никто не сможет.

Комплимент отнюдь не смягчил ее.

— Что ж, делать нечего, — со вздохом сказала она. — Может, справимся как-нибудь… А все-таки жаль, что ты не предупредил нас заранее.

— Да я и сам не знал, — с подчеркнутой искренностью сказал Кит. И хотя мы не поверили ему, никто из нас не выразил никаких сомнений: это было бы слишком жестоко.

Кит обладал удивительным уменьем всегда сваливать вину на других.

— Ну, я пойду, пожалуй, — небрежно бросил он. — А то вы еще скажете, что я путаюсь у вас под ногами. — И вышел, предварительно посоветовав нам не переутомляться.

Но как избежать тяжкой работы, если тебе надо упаковать вещи, необходимые для устройства

первого в твоей жизни домашнего очага? Это невозможно, даже если и помогают слуги. К тому времени, как мы сели ужинать, у нас не было сил даже для разговора. Зато Кит и отец чувствовали себя превосходно. Между ними установилось то взаимное понимание, тот дух товарищества, который объединяет мужчин, когда они смотрят на изнемогающих от усталости женщин, а сами думают, какие все-таки глупые существа эти женщины — работают, как рабыни, и даже довольны этим, потому что рабство— в самой их природе.

Кит привез с собой множество свежих историй и анекдотов. Отец с удовольствием слушал и смеялся, не забывая расспрашивать о том, куда его переводят, на какую должность и как он предполагает все устроить; Кит охотно отвечал. Мы постепенно забыли про свою усталость, и тягостное молчание, в котором мы садились за стол, грозило прорваться бурным весельем.

До сих пор не могу вспоминать об этом вечере без чувства острой печали. Тогда мы этого не знали, но ведь он был последним, когда мы собрались все вместе, единой счастливой семьей…

Мы сидели умиротворенные, согретые смехом, беззаботные, чувствуя себя так, как никогда уже больше не будем чувствовать, не замечая ника-

ких теней, не слыша никакого шепота, который предупреждал бы нас, что это в последний раз. Ну, а если бы и слышали, что тогда? Все равно каждый из нас пошел бы своим путем. Все равно каждый вращался бы по той орбите, которую сам себе выбрал, не мог не выбрать, потому что мы — это мы. Скажу о себе: если бы мне пришлось выбирать заново, я выбрала бы то же самое. Хотя в жизни моей были и боль, и горе, и ненависть, в ней была и любовь; а счастье, которое приносит с собой любовь, слишком велико, чтобы можно было отказаться от него.

Время скоро пролетело. В девять часов Кит встал и отправился в свою комнату, где у него оставалось еще много вещей; он так долго оттуда не возвращался, что отец уже начал беспокоиться, как бы он не пропустил поезд, который отправлялся в половине одиннадцатого (хотя ничто так его не обрадовало бы, как возможность побыть с сыном еще немного). В четверть десятого Кит спустился к нам. Он принял ванну и переоделся в белый пиджак. В его облике появилось что-то официальное, отчужденное: куда девалась беспечная веселость, озарявшая нас такой светлой радостью? Он как-то странно притих, ушел в себя. Охваченная порывом любви,

я подбежала к нему.

— Кит!

— Да?

— Нет, ничего. — Я смутилась. — Мне просто… приятно было повидать тебя.

— Милая сестренка, — ласково сказал он. — И мне было приятно. Непременно приезжай к нам погостить.

— Ты в самом деле хочешь, чтобы я приехала?

— Разумеется.

С веранды донесся обеспокоенный голос отца:

— Китсами! Уже начало десятого. Опоздаешь!

Кит повернулся ко мне лицом. Я торопливо проговорила:

— Спасибо, что ты прислал мне подарок Ричарда вместе со своим. Это ты хорошо придумал. Никто и не заметил.

— Ты думаешь, я слеп, да еще и глуп? — И, поцеловав меня, он вышел на улицу, где его нетерпеливо ждали все остальные.

Несмотря на то что Премала прожила у нас сравнительно короткое время, именно ее отсутствие я ощущала сильнее всего: тех двоих я все равно почти не видела. Кит редко бывал дома: то он встречался с приятелями, то играл в теннис, то ходил в клуб. Говинд же любил уединение и

редко искал чьего-нибудь общества.

Премала была не такой: спокойная по натуре, домоседка, может быть, не очень общительная, но и не замкнутая до такой степени, чтобы чуждаться людей, она помогала по хозяйству, болтала иногда с Додаммой, а по вечерам играла нам на в***и***не[11]. Когда я возвращалась из колледжа, она встречала меня у двери или приходила ко мне в комнату и читала «Гиту»[12], большую часть которой знала наизусть.

А теперь? Что она там делает, в этом окружном центре, куда ее с таким ликованием умчал Кит? Не скучно ли ей в большом пустом доме, о котором он нам рассказывал? Вину она взяла, правда, с собой, но Кит, хотя и гордился ее одаренностью, не любил индийской музыки. И к «Бхагавад-Гите» не питал никакого интереса: строки, которые мы заучивали еще в школе, он давно забыл, пока жил в Оксфорде.

Я спрашивала себя: почему я вообразила, будто дом моего отца — единственное место, где человек может чувствовать себя счастливым? Может

---

[11] Примечания: 11

Вина — индийский струнный щипковый инструмент.

[12] Примечания: 12

«Бхагавад-Гита» («Божественная песнь») — философская часть «Махабхараты».

быть, с Китом ей куда лучше, чем с нами? Но, подумав, я решила, что глупо мучать себя сомнениями. Говинд прав, называя меня паникершей, которая только и делает, что предсказывает всякие бедствия.

Но как ни старалась я не думать о Премале, ничего у меня не получалось. Все напоминало мне о ней, вышивка, которую она хотела подарить маме, но не успела кончить; мольберт, в суматохе забытый ею на веранде; книги, не уместившиеся в переполненных чемоданах; коробка с мишурой и нитками, которые она распутывала для Додаммы. Потерянная, я бесцельно обошла сначала ее комнату, потом смежную с ней комнату Кита. И там и здесь царил беспорядок. Вероятно, маме не хотелось ни самой приступать к уборке, ни поручать ее другим. Все оставалось в том же виде, что и в момент отъезда. Пол был усеян лепестками цветов, вода в вазах позеленела. Свет почти не проникал сквозь опущенные шторы. В пепельнице было полно окурков: видимо, Кит выкурил не одну пачку сигарет за то короткое время, что был здесь. Корзина, переполненная старыми бумагами, лежала на боку, часть мусора вывалилась и рассыпалась полукругом. Я машинально нагнулась, чтобы поднять корзину, и в

глубине ее, под бумагами, заметила фотографию молодой англичанки с шелковистыми волосами. Фотография была разорвана пополам и с силой втиснута в корзину, но углы ее высовывались наружу. Не знаю, зачем я это сделала, но я вынула обе половинки, расправила их, как могла, и разложила на столе Кита. Девушка смотрела на меня юными ясными глазами, которые запомнились мне на всю жизнь. Потом я взяла фотографию, изорвала ее на мелкие кусочки с таким чувством, будто отрывала крылья у бабочки, и поднесла зажженную спичку.

Если бы не уехали Кит, Премала и Говинд, то начались бы, конечно, переговоры и о моей свадьбе. Но мама, видимо, не хотела со мной расставаться и, вопреки настояниям Доддаммы, ничего не предпринимала. Она ни с кем обо мне не разговаривала и не позволяла До-дамме, оставаясь глухой к намекам женщин, которые искали невест для своих сыновей.

Однажды она, правда, забеспокоилась, что не выполняет своего материнского долга.

— Жениха бы тебе подыскать. Ты, наверное, очень скучаешь.

— Нет, что ты? — возразила я, стараясь придать своему голосу больше убедительности. — Мне и

так очень хорошо.

Эти слова подействовали на нее успокаивающе, она отвела от меня глаза и сказала:

— Что ж… Можно и подождать… Ты ведь еще не старая.

— Погоди, она еще локти кусать будет, — проворчала Додамма, сердито блеснув глазами. Она обращалась ко мне, но говорила достаточно громко, чтобы мама ее слышала. — Запомни мои слова: локти кусать будет.

Возможно, она и была права. Когда мама всерьез задумалась о моей помолвке, было уже поздно — к тому времени я уехала из дому, уехала, как впоследствии оказалось, навсегда. Я убедилась, что отказ от молчаливого повиновения не такое уж страшное дело, как кажется сначала. Я пошла своим путем, а не тем, который начертали для меня родители. И отступать было уже поздно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Кит уехал с Премалой в июле, а в августе я получила от него письмо с приглашением приехать в гости. «На субботу и воскресенье мы ждем Ричарда, — писал он. — Он спрашивал, будешь ли ты. Очень хочет тебя видеть и грозится застрелить меня, если я забуду тебя позвать или если позову, а ты не приедешь. Ангелочек мой! — Кит был все такой же сумасброд, что и прежде. — Моя жизнь в твоих руках. Скажи, что приедешь!»

Я хотела поехать, очень хотела, и сказала об этом маме. Та напомнила мне о занятиях в колледже. Мне стало неловко, но я не подала вида.

— Ну, пропущу неделю. Ничего страшного, — убежденно сказала я. — Кроме того, там я тоже могу заниматься.

— Неделю там да три дня в дороге, — возразила мама.

— Ну, пусть десять дней. — Я старалась скрыть нетерпение. — Я же не тупица, быстро наверстаю.

Мама улыбнулась.

— Ладно, поезжай. Если отец согласится.

Но мы обе понимали, что это была уже простая формальность. Я поблагодарила ее и собралась уходить, но она вдруг нахмурилась и сказала:

— Надеюсь, Китсами помнит о приличиях… Он пригласил тебя только на неделю? — Она протянула руку за письмом.

Мне ничего не оставалось, как отдать ей письмо. Пока она молча читала, я со страхом следила за выражением ее лица. Уж не передумает ли она? О Кит, ведь ты же сказал мне тогда, что ты не слеп и не глуп? Неужели ты не понимал, что это может случиться? Но мама, прочтя письмо, ничего не сказала, только потребовала, чтобы я ехала не одна. Она посоветовала взять с собой Даса, привыкшего к дальним поездкам. И раз уж я еду, то могу пробыть у Кита две недели. На все это я охотно согласилась.

Предполагалось, что я выеду в среду вечером, чтобы прибыть к Киту в пятницу утром. Но в среду Дас не вышел на работу. В полдень пришла его жена и сказала, что он внезапно заболел. Нет, ничего серьезного. Печеночная колика. Но ехать далеко он не сможет.

— Бедняга Дас, — весело сказала я, не скрывая бездушного эгоизма. — Ну, что ж, поеду с кем-нибудь другим, только и всего.

— С кем-нибудь нельзя, — возразила мама. — Дас — старый, опытный слуга. Без него я не разрешу тебе ехать. И отец не позволит.

Вот и все. Так я и приехала туда вместо пятницы в понедельник утром. А Ричард уехал накануне вечером.

— Очень приятный человек, — сказала Премала, встретившая меня на вокзале. — Никак не подумаешь, что он так долго прожил в Индии… Кажется, год уже? Просил передать: очень сожалеет, что разминулся с тобой. Он так хотел тебя видеть!

Где-то, среди пепла уныния, затеплился огонек радости. Он жалеет, что разминулся со мной. Хочет меня видеть. Слова эти, такие будничные, настораживали мое «я», заставляли думать, как оградить себя от возможной обиды. Ну, что он такого сказал? Обыкновенную вежливую фразу — и ничего больше. Но мое второе «я» — горячее, порывистое, бесстрашное — говорило, кричало, что эти слова означают нечто большее, гораздо большее, чем любезность. Я взяла на себя роль арбитра и, установив, что истина где-то посередине, решила: огонек все-таки есть, он еще не погас.

— Так или иначе — я рада, что мы снова вместе, — сказала Премала, беря меня под руку. —

Пошли!

Дас ушел вперед. Мы последовали за ним, медленно пробираясь между сгорбленными фигурами пассажиров, сидевших на корточках в терпеливом ожидании поездов, между их чемоданами и узлами, между распростертыми на полу телами спящих в этот ранний час завсегдатаев железнодорожных вокзалов.

Тем временем Дас каким-то чудом разыскал наш автомобиль, хотя прежде никогда его не видел, и уложил в багажник мои чемоданы.

— У твоей мамы прекрасные слуги, — сказала Премала. — Сами знают, что делать.

— Дас хорошо обучен, это верно, — согласилась я. Прежде я выслушивала подобные похвалы с кислой миной, но сейчас, в эту радостную минуту, я была настроена более терпимо.

С носильщиками расплатились без нас, но они решили воспользоваться тем, что мы женщины, да еще молодые, и не уходили, надеясь выпросить денег и у нас. Присутствие Даса сдерживало их, но как только тот влез в машину, они кинулись к нам — шумливые, назойливые— и стали громко жаловаться. Чемоданы-де тяжелые, заплатили им мало, а вы, барышни добрые, не обижайте нас, подумайте о наших семьях. А тут еще (не

везет, так не везет!) машина не двигалась с места. Целую минуту шофер с похвальной настойчивостью держал ногу на педали стартера, а потом вылез из машины и открыл капот. Но в Индии люди, управляющие вашей машиной, относятся к этому занятию с доверчивым простодушием: они не понимают, как устроен автомобиль, никогда не делают вида, будто понимают, и, когда он ломается, отправляются — невинные, как сама добродетель — к ближайшему «механико». Так и сейчас: продемонстрировав перед нами свое желание устранить неполадку, шофер закрыл капот, объявил, что сам ничего сделать не может, и отправился за помощью.

Ничто не вызывает такого скопления народа, как застрявший на улице автомобиль. К окружившим нас нищим, которые, — поняв наше безвыходное положение, все настойчивее и настойчивее требовали денег, не преминула присоединиться веселая толпа зевак. Гам стоял несусветный. Прошел уже без малого час, а шофер все не появлялся. Вдруг возле нас остановилось такси, и из него выскочил вне себя от злости Кит.

Индийская толпа точно знает, когда нужно разойтись: у нее есть своеобразный инстинкт,

выработанный многими поколениями, которым приходилось жить в страхе и неуверенности. И теперь потребовалось лишь несколько секунд, чтобы толпа вокруг нас растаяла. Кит решительным шагом подошел к машине.

— Что случилось?

— Очевидно, мотор заглох, — сказала я.

Кит поискал глазами шофера и, не обнаружив его, открыл капот. Потом сел за руль и нажал на педаль стартера. Машина вдруг (может быть, потому, что Кит любил автомобили) ожила и зарокотала.

— Я знал, что дело не в машине, — торжествующе объяснил он, и лицо его немного повеселело. — Я же говорил, что он идиот, этот шофёр. Даже на педаль не мог нажать как следует.

— Надо бы дождаться его, — посоветовала Премала. — Он пошел искать механика.

— Пусть пешком идет, — решил Кит, трогаясь с места. — Поделом ему. Болван безмозглый.

Было прекрасное нежаркое утро. Только-только поднявшееся солнце еще не успело рассеять предрассветные сумерки, прохладный ветерок приятно щекотал кожу. Езда, видимо, подействовала на Кита успокаивающе, он стал тихо напевать что-то, а потом, оборвав пение, предло-

жил нам покататься.

— Проветримся перед завтраком, — весело сказал он. — Это полезно. Дивный воздух! Как вино! Такого чудесного утра я еще не видал.

Премала, заражаясь его благодушным настроением, с улыбкой посмотрела на меня: как мог он видеть? Он никогда не просыпался рано, разве только по крайней необходимости, да и то, вставая, громко жаловался. А для тех, кто залеживается в постели, вина в воздухе не остается, утро быстро теряет свежесть.

— Я бы с удовольствием, — ответила она, готовая, как всегда (и довольная, когда ей это удавалось), угождать ему. — Утро действительно приятное.

Мы ехали примерно час. Премала неуверенно предложила:

— Не повернуть ли нам обратно, Кит? А то еще Рошан подумает, что с нами что-то случилось.

Кит засмеялся.

— Насколько я ее знаю, вряд ли. Даже не заметит, что нас нет.

— Рошан? — удивилась я. — Разве она у вас?

— О да, — ответила Премала. — Я забыла предупредить тебя… забыла тебя предупредить…

— Но ведь она живет в этих краях, — прогово-

рила я. — У нее здесь дом, она рассказывала мне.

— Я знаю. — Премала беспомощно развела руками. — Но она чудачка. Ее дом совсем рядом, но она говорит, что ей нужна перемена обстановки. Ну, и попросилась к нам. Я, конечно, согласилась. Она чудесная собеседница, таких мне еще не приходилось встречать.

Так думала не одна Премала; относительная свобода, которой пользовалась Рошан с самого рождения, за годы учебы за границей сильно выросла, и если раньше эта свобода чем-то ограничивалась, то после возвращения на родину превратилась в абсолютную, причем в поведении Рошан не было ни рисовки, ни бравады. Она судила обо всем с беспощадной прямотой; и под ее влиянием вы начинали воспринимать вещи такими, каковы они есть.

Когда мы приехали наконец домой, Рошан сидела на верхней ступеньке крыльца, ведущего на веранду. В одной руке она держала чашку с кофе, а в другой — газету. Вторая газета, сложенная пилоткой, защищала ее голову от солнца.

— Ты, наверно, думала, что мы пропали, — сказала Премала, взбегая на крыльцо. — Извини. Кит… мы решили немного прокатиться — чудная погода.

— По правде говоря, я еще ни о чем не думала, — призналась Рошан. — Только что встала.

Было почти девять часов.

— А я встал в шесть, — гордо заявил Кит. — Славное утро! Ты не представляешь, Рошан, как много потеряла! Расскажи ей, Прем.

Но Премала из вежливости промолчала.

— Для чего мне рано вставать? — лениво протянула Рошан. — Утро создано не для того, чтобы я им любовалась. Ты забываешь, что я всего лишь экс-поэтесса.

— Ну, поторапливайся, — сказал Кит. — Иначе превратишься еще и в экс… как это ты называешь?

— Обозреватель, — с улыбкой ответила Рошан, проч должая спокойно сидеть. — Я распоряжаюсь временем, а не оно мной. Я же не государственный служащий.

Кит засмеялся.

— Пойдем завтракать. Государственные служащие умеют угощать своих гостей, даже если не умеют ничего другого.

— Не спорю, — согласилась Рошан. — Сейчас приду, только досмотрю до конца вот это.

Под «этим» она подразумевала выгрузку моих чемоданов, за которой наблюдала с большим

интересом.

— Здесь не все мое, — сказала я в свое оправдание. — Кое-что принадлежит Киту. А кое-что Премале.

— Мне и в самом деле показалось, что для одного человека многовато, — засмеялась Рошан. — Удивляюсь, как это ты довезла столько.

— Не все же такие глупцы, чтоб ездить на буфере, — вставил Кит.

Выражение «ездить на буфере» имеет много значений: ездить без билета, ездить в вагоне третьего класса или, как это делают паломники, не сумевшие попасть в специальный праздничный поезд, висеть на подножке. Однако я не могла представить себе, как может «ездить на буфере» Рошан. Да и зачем это ей? Она не нищая, не крестьянка и вряд ли годится для роли паломницы. Наверно, Кит употребил эту фразу просто так, подумала я, входя в дом. Возможно, она когда-то забыла купить себе билет, а он теперь подшучивает над ней. Решив так, я уже не думала об этом. Но я ошибалась.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дом моих родителей делился на две половины: индийскую и европейскую. Сами мы жили на индийской. В доме же Кита не было ничего индийского, потому что его меблировкой и отделкой занималась европейская фирма. Полы были устланы уилтонскими коврами, в гостиной стояли кресла с подушечками, там же оборудовали и бар, стены спален были затянуты набивным ситцем, а буфет украшал английский фарфор. Но миниатюр пахари[13] из коллекции Премалы и кашанских ковров, что ей подарили, нигде не было видно.

— Во всем большой вкус, — сказала Премала; показывая мне дом, и нерешительно добавила: — Не хочется ничего менять, только… неплохо бы иметь вторую столовую. Ты ведь знаешь наших родителей, они предпочитают все свое, национальное, особенно еду. Против остального они не будут возражать.

— О, возражать они не станут, — сказала я, чувствуя неловкость оттого, что Премала как

---

[13] Примечания: 13

Пахари — племена, живущие в предгорьях Гималаев.

бы перехватила мою мысль. — Да и вряд ли они скоро к вам приедут, правда? Может быть, со временем Кит и согласится на вторую столовую.

— Кит считает это излишеством, — ответила Премала. — Тогда бы пришлось выделить целую комнату, а значит, и отдельную кухню устроить. — Я думаю, что он прав. Не так уж много ортодоксов среди наших знакомых, да и дом этот не наша собственность, так что думать о родственниках не приходится.

— Конечно, — охотно согласилась я. — И хозяйство вести проще, когда одна кухня.

— О, хозяйство меня не беспокоит. У нас неплохие слуги. Миссис Холлидей, знакомая Кита, прислала нам своего дворецкого, а повар обучался у Бурдеттов, они тоже друзья Кита. Мне очень повезло.

Мне кажется, она даже испытывала некоторый страх перед хорошо обученными слугами, чувствуя, видимо, что те более привычны к английским обычаям, чем она сама. Я ни разу не слышала, чтобы она отдавала слугам какие-нибудь распоряжения; казалось, ее удовлетворяло все, что они делали. Да и в самом деле, слуги неплохо справлялись без ее руководства. У нее оставалась масса свободного времени; и хотя я

знала, что вечерами они с Китом обычно уезжают куда-нибудь иди принимают у себя гостей, для меня оставалось загадкой: что она делает весь день? Но я, конечно, не могла спрашивать ее об этом.

Если Премала не знала, куда употребить свое свободное время, то Рошан, наоборот, не хватало времени, хотя она в этом и не — признавалась. «Я не рабыня, а хозяйка своего времени», — говорила она, сидя на озаренном солнцем крыльце веранды и следя насмешливым ленивым взглядом, как Кит отправляется на службу. Или, медленно попивая кофе, изрекала: «Время эластично, как резина, зачем же торопиться, подгонять его?»

Однако бывали дни, когда она вставала и уезжала прежде, чем мы выходили к завтраку, и даже не возвращалась к обеду, а если и возвращалась, то почти не притрагивалась к еде. Случалось и так, что мы уже давно поужинали, а ее все нет.

— И что она так перегружает себя? — недоумевала Премала. — К хорошему это не приведет.

— Боже милостивый! — воскликнул Кит. — Разве она работает? Пустяками какими-нибудь занимается.

— Что ты, Кит! — запротестовала Премала. — Не говори так. Я же вижу, какая она приходит

усталая.

— С чего бы ей уставать? Она, по-моему, вообще ничего не делает. — Кит повысил голос: — Рошан! Скажи, чем ты занимаешься? Любопытно все-таки.

Подойдя к нам неторопливой походкой, Рошан с улыбкой ответила:

— А ты лучше приходи и сам посмотри.

Кит покрутил головой, сказав, что у него есть дела поважнее. Премала тоже не горела желанием воспользоваться приглашением. Но я не могла сдержать любопытства; женщины моего круга, — как индианки, так и англичанки, особенно замужние, — нигде не служили, и я заинтересовалась этим приглашением. Боясь, как бы она не передумала, я быстро проговорила:

— Я хотела бы посмотреть. Очень.

— Что ж, приходи в любое время, — сказала она с веселой усмешкой. — Только тебе это покажется невероятно скучным.

Но я не хотела отступать.

— Когда? Завтра?

Рошан, не раздумывая, кивнула, что меня даже немножко удивило, и на этом разговор был окончен.

Не знаю, чем привлекла меня с самого начала

ее работа, — ведь я почти не представляла себе, в чем она состоит. На мои расспросы Рошан ответила:

— Мы пишем, вот и все. О чем? Да обо всем!. Обо всем, что интересно, — по крайней мере, нам интересно!

И вот я поехала с ней в редакцию. Мне там понравилось, хотя я и мало что поняла. На следующий день я опять поехала с ней и провела в редакции весь день, а вечером, уезжая домой, взяла с собой пачку старых номеров журналов. Третий день я провела в редакции одна (Рошан ушла куда-то по делам), чрезвычайно довольная тем, что начала кое-что понимать. На четвертый день, когда я снова захотела поехать вместе с ней, она рассмеялась.

— А ты начинаешь приживаться. Смотри,‘потом не уйдешь от нас!

— А я и не хочу уходить, — ответила я.

Рошан молчала. Глаза ее вопросительно и лукаво смотрели на меня. Она слегка пожала плечами.

— За чем же стало дело?

Я не ответила. Всю последующую неделю я провела в редакции, завидуя сотрудникам и жалея, что не принадлежу к их числу. Правда,

в известном смысле я уже стала одной из них, потому что теперь, входя в редакцию, не привлекала к себе ничьего внимания. Отчужденность, которую я испытывала, как всякая женщина, оказывающаяся в обществе мужчин, скоро исчезла, растворившись в веселой деловой атмосфере, и я чувствовала себя органической частью коллектива, что вызывало у меня новые, очень приятные ощущения.

Незаметно промчались две недели.

— Страшно не хочется уезжать, — сказала я Рошан. — Здесь было так… так хорошо.

— Побудь еще, — предложила она.

— Мне ни за что не разрешат. Надо ехать домой.

— Напиши им, что растянула лодыжку. Звучит не очень убедительно, но, по-моему, этого будет достаточно.

Я озадаченно смотрела на нее: способ, конечно, простой, но хватит ли мне духа пойти на столь откровенный обман?

— У тебя будет время подумать о дальнейшем, — добавила она.

Хорошенько поразмыслив, я обвязала ногу бинтом. Наутро Кит отправил за меня телеграмму.

Прошла неделя, потом другая. Получаю из дома

письмо: не стало ли мне лучше, могу ли я теперь ехать? Пора возвращаться.

И вот тогда, наконец, я решилась. Когда я написала письмо и отправила его, то почувствовала себя такой обессиленной и опустошенной, как будто перенесла длительный приступ лихорадки; вместе с тем я ощутила и странное облегчение, почти успокоение от сознания того, что дело сделано, и теперь — будь что будет — возврата к прежнему нет.

Вскоре после того как я приняла это решение, Рошан сказала, что возвращается в свой дом, и предложила мне поселиться у нее.

— Раз мы будем работать вместе, то и жить надо вместе, — сказала она. — Так разумнее.

Это предложение показалось мне довольно соблазнительным. Правда, Кит и Премала настаивали, чтоб я оставалась у них, и я знала, что не стесню их своим присутствием, ведь у них такой большой дом и столько слуг! Но мои отношения с Премалой утратили былую легкость и непринужденность. Не то чтоб она была против моей работы-тут, по-моему, она не имела своей точки зрения; но за то время, что она прожила с нами, она очень полюбила моих родителей, особенно маму, и с грустью думала о том, сколько тревог и

огорчений я им причиняю. Ей вообще было непонятно^ зачем уходить из своего дома; но если бы она спросила меня, я не смогла бы ей ответить, потому что и сама не знала. Однако она не спрашивала, она просто молчала, и я чувствовала себя виноватой. Вот почему мне так хотелось переехать к Рошан, которая была свободна, как ветер, и ни от кого не зависела. Но на это я не могла решиться.

— Я все же останусь у Кита, — сообщила я ей наконец. — Мои родители… мама… считают, что так будет… приличнее.

Рошан молча посмотрела на меня, как мне показалось, с презрением, потом спокойно сказала:

— Ну, что ж… Я их вполне понимаю. Живи у брата.

Но хотя родители писали о брате (и Рошан воздержалась от каких-либо высказываний на этот счет), в действительности они полагались не на него, а на Премалу, ибо Кит был слишком далек от нравственных устоев нашей касты и нашего окружения, чтобы быть их рьяным блюстителем или служить мне строгим опекуном.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мне не потребовалось много времени на то, чтобы узнать истинную цену небрежно брошенной Рошан и принятой мной на веру фразы: «Мы пишем о том, что интересно», или на то, чтобы навсегда избавиться от радостного возбуждения, которое я испытывала в конце недели, когда воображала, будто уже «все постигла».

Да, Рошан действительно писала о том, что ее интересовало, ее статьи охватывали широкий круг проблем — от исследования английского влияния на персидскую поэзию до пропаганды политических идей, которым она сочувствовала. Так же, наверное, поступал и главный редактор. Что касается всех остальных, то мы не располагали такой свободой выбора. Впрочем, меня это не удручало, потому что, если бы мне просто сказали: «Садись и пиши», то вряд ли я знала бы, с чего начать. Когда же тебе говорят: «сделай то, сделай это» или «сходи туда», то это уже помощь.

То обстоятельство, что мои статьи не всегда прочитывались, что их кромсали, критиковали, переписывали, а нередко и просто выбрасывали

в корзину, не особенно меня беспокоило. Мне нравилось писать, нравилось быть занятой, а радость от того, что меня все-таки печатали, с лихвой возмещала случайные, как мне казалось, неудачи. Кроме того, я сделала любопытное открытие: когда смотришь на событие со стороны, когда чувствуешь себя не его участником, а сторонним наблюдателем, то начинаешь отделять интересное от скучного. Дома у нас тоже убывали свадьбы, цветочные ярмарки, самодеятельные спектакли с участием представителей знати, выставки местной керамики или выставки рукоделья, организуемые женскими клубами и институтами, и я их посещала, потому что меня туда водили или ожидали, что я сама пойду. Но лексикон, которым там пользовались, поздравляя устроителей или выражая им свое восхищение, был настолько скуден и банален, от посетителей требовалось так мало фантазии и наблюдательности, что у меня невольно пропадал всякий интерес. Теперь, выступая в роли наблюдателя, я смотрела на все как бы другими глазами и начала замечать под знакомой мне глазированной поверхностью новые незнакомые оттенки. Но обретенная мной с такой легкостью возможность проявить собственную индивидуальность, выра-

зить чувства, которым до этого времени почти не было выхода, чрезмерно возбуждала меня.

— Я знаю, почему вам так нравится эта работа, — сказал мне однажды Венкатачария, которого знали в редакции под уменьшительным именем Чари. — Потому что вы можете свободно критиковать.

Чари был одним из сравнительно молодых сотрудников. С самого начала он опекал меня, но не потому, что ему очень этого хотелось, а так уж получилось.

После первой недели самостоятельной работы я обратилась к Чари за помощью, предположив, из-за его моложавого вида, что он не относится к числу старших редакторов. Потом я поняла, что ошиблась, но к тому времени у нас уже сложились дружеские отношения, и, не желая показывать свою неопытность другим, я продолжала обращаться к нему. Так я обрела себе опекуна, а он — подопечную. Отношения эти подкреплялись еще и чувством робости, которое я испытывала, как всякий человек, занимающийся новым для него делом. Но Чари, кажется, ничего не имел против меня, а если и имел, то никак этого не проявлял.

Я долго размышляла над его словами. Неужели

он прав? Неужели я в самом деле люблю журналистику только за то, что она дает мне возможность критиковать? Но ведь…

— А вы полистайте старые номера, — сказала я, — и убедитесь, что я ни разу никого и ничто не покритиковала.

— Это потому, что все колкости были изъяты из ваших репортажей, — возразил он.

— Тогда сравните их с оригиналами, — предложила я. — Оригиналы гораздо длиннее, но мысли в них те же.

Я говорила правду: как бы мои статьи ни сокращали, но если их все же использовали, мысли в них оставались моими: искажения попадались очень редко.

— Ну, если прямо не критиковали, то косвенно, уж во всяком случае, сказал он.

— Например?

— Например, когда вы писали, что орхидеи выглядели так, словно росли в ледниковый период.

— Так это же правда! В оранжереях испортилось отопление. Так я и писала.

— А то, что не могли разыскать призы?

— Действительно, не могли. Там была неразбериха.

— Но писать об этом не было нужды.

— Я пишу о том, что было. И не пишу о том, чего не было.

— Да, говорить вы научились, — сказал он. — Никто из тех, кого я знаю, не говорит так много, как вы. Если б вы не были так скромны сначала, я ни за что не стал бы с вами возиться. А теперь вы готовы спорить весь день, если бы вам позволили. Как торговка рыбой.

От неожиданности я оторопела, тем более что в словах Чари, как мне показалось, была доля правды. Вместе с тем, к моему удивлению, мне было скорее приятно, чем неприятно. Испуг, вызванный грубой и непривычной манерой обращения, как-то странно уравновешивался чувством удовлетворения полной, хотя и нелестной для меня, мужской откровенностью.

Но, помимо способности раскрывать передо мной черты моего характера, Чари обладал и другими полезными качествами. Его отец был редактором; Чари любил говорить, что скорее умрет, чем станет работать у этого старого чудака с закоснелыми взглядами, но общение с отцом все же пошло ему на пользу: выросши в среде журналистов, он многому у них научился.

Обладая острым, безжалостным умом, он обрушивался на твой репортаж, если видел, что

ты написала его недостаточно добросовестно, неряшливо или неточно, и так его разносил, что вгонял тебя в краску и заставлял испытывать жгучую досаду; тебе хотелось скорее загладить свою вину, и ты клялась, что никогда больше не дашь повода для такого разноса. Кроме того, он, казалось, инстинктивно угадывал, где надо искать материал, и щедро делился с тобой своими догадками, так что ты заранее знала, на какое собрание идти, а какое можно пропустить. Я старалась перенять у него это умение, и впоследствии, когда перешла на политический репортаж, оно очень мне пригодилось.

Но пока сфера моей деятельности ограничивалась тем, что все остальные считали пустяками; я знала, что думают о моей работе другие сотрудники, но меня и это не обескураживало.

— Удивляюсь, как вам не наскучит ходить на эти дурацкие вечера и приемы, — сказал мне однажды Чари.

Я ничего не ответила, и продолжала орудовать ножницами, макетируя свою полосу.

— Наверно, притерпелись, — продолжал он, стараясь вложить в эти простые слова как можно больше язвительности. — А меня они довели бы до одурения.

Отмалчиваться было уже невозможно, и я ответила:

— Не представляю, как вы можете так говорить. Сами же утверждали, что ничто не бывает абсолютно скучным.

Услышав из чужих уст излюбленный собственный афоризм, Чари не сразу нашелся, что ответить, потом сказал:

— Конечно, ничто, если человек правильно мыслит. Я пробовал вообразить себя на вашем месте.

Не думаю, чтобы после этого разговора я начала правильно мыслить или почувствовала отвращение к своей работе, но я постепенно стала утрачивать чувство удовлетворенности и осознала, что есть и другие, более широкие и заманчивые, хотя и весьма отдаленные еще, перспективы.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В сентябре того года в Европе разразилась война; прошло немного времени, и в нее оказалась втянутой Индия. По-моему, тогда никто еще толком не знал, что будет дальше; последующие недели прошли в молчаливом и тревожном ожидании, они были омрачены зловещими тенями и ощущением трагической ярости, накапливавшейся за морями. Но постепенно обстановка разрядилась, не могла не разрядиться, так как люди уже не в состоянии были выдерживать эту гнетущую атмосферу. Солдат, привыкших к условиям мирного времени, начали приучать к мысли о войне, площадь, которая прежде служила детям местом для игр, приспособили под плац, а гражданское население стали устрашать введением продуктовых карточек (впрочем, пугало это почти никому не внушало страха). Англичане поговаривали о поступлении на военную службу, англичанки высказывали намерение работать шоферами санитарных машин; индийцы притихли в предчувствии бури.

И вот однажды, когда суматоха улеглась и

жизнь вошла в свою колею (прошло уже девять месяцев с тех пор, как была объявлена война), к нам пришел Говинд. Он явился вечером, нежданно-негаданно, не предупредив нас ни телеграммой, ни письмом, явился так же внезапно, как являлся и исчезал прежде.

Время было позднее — почти десять часов. Кит был в клубе; Премала и я, как обычно в лунные вечера, сидели после ужина на веранде. Когда неожиданно он появился на посыпанной гравием дорожке, мы не сразу узнали его, потом Премала встала с плетеного кресла, тихонько вскрикнула и, высвободив нетерпеливым движением край сари, застрявший между прутьями, спорхнула с крыльца.

— Говинд, это ты! Милый, как я рада тебя видеть! — Она говорила как-то особенно радостно, ласково, искренне, в голосе ее звенела нотка, какой я давно не слыхала.

Я не разобрала, что он ей сказал, но видела, как он взял ее за руку и смотрел на нее, не отрывая глаз. Когда они поднимались на веранду, он все еще не отпускал ее руки. Думаю, он не заметил меня, а если и заметил, то тут же забыл о моем присутствии, потому что, когда я встала, он вздрогнул от неожиданности, а потом отошел от

Премалы и обнял меня.

— Мира, ты совсем взрослая, — ласково сказал он. — Ты не представляешь, как я рад тебя видеть.

— И я — тоже, — ответила я. — Мы ведь давно не виделись.

— Очень давно, — сказала Премала. — И соскучились друг по другу. Входи же, дай посмотреть на тебя.

Она взяла его за руку, и мы вошли в дом. Говинд с улыбкой слушал ее задушевный, приветливый голос. Премала была счастлива, глаза ее блестели нежной лаской.

В гостиной горела только одна настольная лампа с низким абажуром, но даже в полумраке легко было заметить, как сильно переменился Говинд, хотя с тех пор, как мы расстались, прошло менее года. Я с детства привыкла видеть его серьезным, мрачным, сосредоточенным, в нем не было и следа той беззаботной веселости, которая обычно озаряет лица молодых людей; но теперь к прежним его чертам прибавилось нечто новое — пугающее, тревожное, неотвратимое: какая-то суровость, резкая непримиримость. Я взглянула на его ввалившиеся глаза и глубокие складки около рта и отвернулась. Я не верила, отказывалась

верить этим переменам; мне хотелось видеть его таким, как прежде.

Премала пристально смотрела на него и тоже не верила. Наконец она с тревогой спросила:

— Говинд… Что случилось? Какая-нибудь беда?

— Беда? — переспросил он. — Нет, все хорошо. Почему ты спрашиваешь?

— Ты переменился, — сказала она, отворачиваясь. — Я подумала…

— Все мы с возрастом меняемся. Чему же тут удивляться?

— Не прошло и года. Разве это много?

— Это зависит от того, что человек пережил, — ответил он, вглядываясь в ее лицо. — Надо ли об этом спрашивать?

Она опустила глаза и немного помолчала, потом тихо сказала:

— Ты находишь, что я тоже переменилась?

— Да.

— Вряд ли это комплимент… — сказала Премала, не замечая своей непоследовательности. Но тут же осеклась и не решилась ничего добавить. Наступила тишина.

Я посмотрела на нее: она сидела, скрестив на коленях руки и понурив голову. Волосы ее сверкали, как черный жемчуг. Длинные опущенные

ресницы, почти скрывавшие печальные глаза, лежали на щеках полумесяцами. Говинд был прав. Лишь я одна, общаясь с ней повседневно, не заметила, что она изменилась.

На этот раз молчание прервал Говинд.

— Не будем говорить о том, как мы переменились, — бодро сказал он. — Оставим это занятие пожилым. А мы еще молоды.

Премала подняла на него глаза и улыбнулась. Она не оспаривала, но и не подтверждала его слов, ибо знала, как знал каждый из нас троих: мы совсем не молоды, разве только годами.

— Расскажи о себе, — предложила Премала. — Но сначала… чуть не забыла.

Она быстро вышла и через минуту вернулась с подносом — на нем были чашки с кислым молоком, фрукты, орешки и ломтики копры; традиционное индийское угощение. Не было только листьев бетеля, потому что их полагается подавать свежими, а это требует ежедневных закупок. Но индийцы, придерживающиеся родных обычаев, заезжали к нам так редко, что Премала давно уже перестала посылать за бетелем.

Поставив перед ним поднос и усевшись с ногами на диване, она сказала:

— Ну, а теперь скажи, где ты был все это время,

что поделывал.

— Работал, — ответил он. — Чем же еще заниматься мужчине?

— И как видно, работал слишком много, — сказала она, всматриваясь в его исхудалое, осунувшееся лицо, исчерченное глубокими морщинами. — Другие мужчины находят время и для отдыха, и для развлечений. Даже успевают жениться и завести детей.

Неужели ею двигала жестокость? Я не могла этому поверить. Наивность? Или инстинктивное стремление излить чувства, в которых она боялась признаться самой себе? На этот вопрос не только я, но, пожалуй, и она сама не знала ответа.

— А я не хочу жениться, — проговорил наконец Говинд. — Мне и других забот хватает.

— Но ведь брак… это самое важное.

— Вот и мама постоянно твердит мне то же. — Голос Говинда звучал нарочито весело. — И Додамма… А теперь еще ты. Чувствую, что меня уже почти уговорили.

— Мама?! — воскликнула Премала, привставая. — Ты виделся с ней недавно? Заезжал домой?

— Да. — Говинд улыбнулся, видя, как она ожи-

вилась. — Совсем недавно.

— Как она там? А как твой отец? А Додамма?

— Неугомонна, как всегда, — сухо ответил он. — Только еще болтливей стала. Мама… немного успокоилась, отец все витает в облаках. Стал еще рассеянней, чем прежде. А в общем, все идет так, как раньше, хотя нас там уже и нет.

Говинд улыбался, в глазах его искрилась легкая насмешка, но Премала не обижалась. Оживленная, радостная, она улыбалась ему в ответ. В эту минуту Говинд был для нее частицей жизни, которую она любила и понимала, частицей дома, который стал и ее домом. И он оттаял, как это случалось всегда, и заговорил так, как говорил только с ней — быстро и без запинки. Вопрос и ответ, еще вопросы, поток слов; все те мелочи, которые так важны для нас, в них прорываются самые глубокие наши чувства. Мама выглядит все так же; снова занялась живописью— ведь свободного времени у нее теперь вдоволь… Домашних животных прибавилось, больше стало кошек и собак; на улице построили кормушку для птиц. Половину дома заперли, и правильно сделали… В саду сейчас изумительно.

Весь год, с тех пор как я уехала, я часто вспоминала о доме, но старалась не воскрешать

прошлого, не бередить душевную рану. Но каково слушать, когда о доме говорят другие, и ты не можешь этому помешать!.. Взволнованная, я встала и подошла к окну. Дома, когда стоишь в такой вот вечер у окна, из дальнего конца сада — единственного места, где мама, боящаяся змей, позволяет расти пышным кустам, — доносится аромат дикого жасмина. К этому аромату примешиваются запахи цветущих фруктовых деревьев: граната, саподиллы и папайи, которые сажал мой отец. Все они, когда выросли, оказались мужского пола, так что не приносили никаких плодов, но у отца не поднималась на них рука — так дивно хорошо они благоухали. Слышен и запах сандаловых деревьев, которые отец давно уже должен был срубить по требованию ретивого чиновника (разведение сандалового дерева— государственная монополия)… Некогда мы, разгневанные, всей семьей обрушили на него свои протесты, бедняге пришлось уйти. Так эти деревья и остались.

Мне стало больно, и я отвернулась от окна. Все, о чем рассказывал Говинд, было мне знакомо — это мой дом, часть моей жизни. Но я покинула его по собственной воле и не собиралась менять свое решение. И вместе с тем бывали минуты,

когда я как бы смотрела на себя со стороны и спрашивала: я ли это? Неужели это я хожу, работаю, живу в чужом убогом городе сего контрастами, с его грохотом и гамом, замусоренными улицами, бесконечными тротуарами и пыльным воздухом, городе, где идет вечная борьба за существование. Трудно, почти невозможно поверить.

Вдалеке послышался шум автомобиля, я встрепенулась. Раздались яростные гудки: наверно, водитель требует, чтобы какой-нибудь незадачливый возница убрал своего вола. Еще гудки, и сонный сторож трусцой поспешил к воротам, которые обычно запирали на ночь. Потом фары, повернув к дому, осветили дорожку, сверкнули в темноте кротоны и пальмы, стоявшие в кадках по обочинам, прошуршал в последний раз под колесами гравий, и машина остановилась под портиком.

Кит не вошел еще, а в доме уже чувствовалась какая-то перемена. Прежнее настроение растворилось, поблекло, утратило свежесть красок; создалась некая нейтральная среда, как бы специально предназначенная для того, чтобы вобрать в себя чужеродное тело.

Но откуда это чувство? Ведь Кит не был нам чужим, мы росли вместе и принадлежали все к

одному кругу.

Говинд замолчал.

— Это Кит, — объявила без всякой надобности Премала и пошла встречать мужа. — А у меня для тебя сюрприз, — послышался ее голос. — Ни за что не угадаешь, кто к нам пожаловал.

— Ну тогда нечего и пробовать. — Кит, видимо, был в хорошем настроении. — Ясно одно: сюрприз этот приятен; у тебя такой сияющий вид, Прем.

— Верно. — Премала больше уже не могла скрывать. — У нас Говинд!

Пока шел этот разговор, они поднимались по лестнице; вдруг шаги его стихли. Кит настороженно спросил:

— Говинд?

— Да. Нагрянул без всякого предупреждения, даже не позвонил. Мы с Мирой были просто поражены.

Когда они вошли в комнату, Премала продолжала говорить. Она, должно быть, нервничала. Говинд поднялся с места и посмотрел прямо на Кита. Они постояли немного, потом Кит спокойно сказал:

— Рад видеть тебя, старина. Давно бы пора навестить нас.

— Он только что приехал, — начала было Премала и замолчала, вспомнив, что сам-то он ничего не говорил. Обернувшись к Говинду, она спросила: — Ты ведь недавно здесь, правда? Правда?

— Месяца два или три, — ответил он. — С перерывами. Иногда уезжал.

— И только сегодня?..

— Случая подходящего не было, — буркнул он тоном, исключающим дальнейшие расспросы.

Кит подошел к столу, где стояли на подносе стаканы и бутылки, и бросил на Говинда вопросительный взгляд.

— Ты не усвоил еще эту дурную привычку?

— Нет. Мне это не по карману.

— Не возражаешь, если я выпью?

— Конечно, нет. Почему я должен возражать?

— Это я так спросил, на всякий случай. Ты же знаешь, сколько в нашей стране развелось критиков. — Потом, без всякого перехода, добавил: — Я слышал, ты дома был. Мама мне написала.

— Да, был. Но недолго.

— Я так и понял. — Кит подошел со стаканом в руке к дивану и сел. — Мама пишет… жалуется, что ты пробыл у них всего один день.

— Я не в отпуске был. — Говинд говорил сдержанно. — Заехал по пути. Я же объяснял твоей

матери.

Матери? Прежде он всегда говорил «мама». Ведь она растила его с самого детства. Другой матери он и не знал. И вот теперь вдруг — это строгое, официально-вежливое — «мать». Почему? Почему? Почему ему так ненавистен Кит? Что за темная сила разъединила этих двоих людей, моих братьев, сделала их чужими?

— Мама считает, что ты слишком обременяешь себя. — Кит внимательно рассматривал свой стакан. — Она считает, что тебе нужно отдохнуть. Возможно, она права.

— Возможно. — Говинд пожал плечами и, скользнув взглядом по черной блестящей шевелюре, хорошо сшитому смокингу и холеным рукам Кита, холодно добавил — Мне кажется, она не понимает, что мне надо работать. Работать не покладая рук. Теперь уж мне нельзя бросать.

Непринужденная, дружеская, сердечная атмосфера тотчас же рассеялась. Премала сидела, притихшая, в углу, нервно теребя шелковую бахрому своего сари; на диване и на зеленом шерстяном ковре темнели следы пролитого вина. Ей нечего было сказать, мне тоже. Нам оставалось только ждать в тишине, которая поглощала все наше существо.

Наконец Кит прервал молчание.

— Разумеется, кое-что о твоей деятельности я слышал, — медленно проговорил он.

Говинд поднял на него глаза.

— Еще бы. Было бы странно, если бы судья не знал, что делается в его округе.

Конечно, легче примириться с чем-то известным, чем с неизвестным, и мне кажется, что в последующие дни обе мы, Премала и я, хорошо это поняли. Мы не решались высказывать вслух свои догадки — каждая ждала, пока это сделает другая. От Кита же и Говинда мы ничего больше не узнали. Говинд исчез так же внезапно, как и появился. Нам он ничего не сказал, даже не оставил своего адреса. Кит тоже молчал. В Индии (как и еще кое-где) не принято волновать женщин, поэтому их обычно не посвящают в серьезные дела. Кит повторял снова и снова, что ему нечего больше сообщить.

— Но что он имел в виду, когда сказал, что тебе, как окружному судье, полагается знать? — допытывалась Премала.

Кит разводил руками.

— Откуда я знаю, дорогая? Говинда я не понимаю и никогда не пойму.

— Ты сказал, что слышал кое-что о его деятель-

ности.

— Как судье, мне приходится выслушивать очень многое. Это одна из моих обязанностей. Ты хочешь, чтобы я запоминал все, что доходит до моего слуха?

Продолжать разговор было бесполезно. Есть сферы, доступные только мужчинам, индийских женщин с детских лет приучают не вторгаться в эти сферы. Кит знал, что напоминать об этом Премале во второй раз ему уже не придется.

Правду открыла мне Рошан. Заметив мое волнение (я еще не научилась напускать на себя невозмутимый вид), она спросила, что случилось. Ничего, — ответила я. Рошан не стала расспрашивать — у нее была мужская манера не показывать любопытства; как бы ей ни хотелось узнать что-нибудь, она умела оборвать разговор, если видела, что ее собеседник не склонен или не готов еще его продолжать.

Прошло несколько недель, и я сама сказала ей, что меня тревожит.

— Он член Партии независимости, — сообщила она. — До известной степени и я — тоже.

— Разве ты с ним знакома?

— Мы же встречались на свадьбе Кита, — напомнила она. — Только я не знала, что он твой

брат.

— Сводный брат, — уточнила я. — Но я не думала, что он может… Чем он там занимается?

— Организует кампанию гражданского неповиновения. Только сам он готов идти еще дальше.

Кажется, именно в эту минуту я впервые узнала, что такое страх. Я чувствовала, как он медленно распрямляет свои черные змеиные кольца, чувствовала, как все отступает перед этой ползучей темнотой.

«Как далеко?» — спросила я, и не услышала собственного голоса. Я облизала губы и проговорила еще раз:

— Как далеко?

Рошан посмотрела на меня с сочувствием.

— Думаю, нет таких границ, которые он не решился бы перешагнуть. Разве ты не знаешь своего брата?

Я знала. Конечно, знала. Но я надеялась, что ошибаюсь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вскоре Рошан впервые попала в тюрьму. В течение нескольких месяцев она вела кампанию за улучшение условий для пассажиров третьего класса. Каждую неделю она печатала репортажи, в которых описывала какую-нибудь из своих невероятно трудных поездок (все их она совершала лично; не думаю, чтоб она хоть раз писала что-нибудь с чужих слов), как она изнывала от жары в медленно ползущем поезде, где нельзя получить ни воды, ни пищи, как стояла на подножке, не имея возможности втиснуться в дверь, либо задыхалась от тесноты в вагоне, где пассажиров оказывалось вдвое больше, чем положено.

Порядки на железных дорогах не изменились. Впрочем, никого из нас это не удивило, только одна Рошан была искренне поражена. Но она не сдавалась: обвинив управление железных дорог в обмане пассажиров, она пришла к выводу (и обнародовала этот вывод), что пассажиры, в свою очередь, вправе обманывать управление. Потом она перестала писать и начала вести агитацию

среди пассажиров. И на этот раз мы не думали, что ей удастся добиться ощутимых результатов. Люди, предпринимающие путешествие, естественно, хотят добраться до места, у них нет никакого желания затевать скандал, который может привести к их аресту. Рошан же ничего другого им не сулила и тем не менее скоро приобрела последователей.

Несколько раз я ездила с ней (сначала из любопытства, а потом увлеклась сама) и слушала ее речи перед толпами на вокзалах. Я не удивлялась, что она так быстро собирает вокруг себя людей — к этому ее умению я успела привыкнуть: меня поражала готовность, с какой мужчины и женщины шли туда, куда их вели; а ведь это были не горячие юноши, а здравомыслящие, в большинстве своем неграмотные люди, которым нелегко было решиться бросить вызов властям и которые видели в Рошан — светлокожей, элегантной, нарядной даме — человека из другого класса, сколько бы она ни тщилась доказать обратное. И все же они толпились вокруг нее; сомнения их постепенно рассеивались; они готовы были безоговорочно следовать за ней. Ничто не могло поколебать их веру, даже то, что многих из них арестовывали, тогда как Рошан оставалась на

свободе; толпы пассажиров, которых уводил конвой, продолжали взирать на нее доверчивыми глазами.

Ничто, мне кажется, так не бесило Рошан, как эта несправедливость, и она продолжала свои поездки в надежде спровоцировать власти на активные меры. Однако совсем не просто, при отсутствии прецедентов, арестовать женщину, которая выходит за рамки своего класса и своего окружения и ввязывается в дела, ее не касающиеся; а если к тому же её отец владеет половиной окрестных фабрик, а муж занимает высокий пост в правительстве, положение еще сложнее. Поэтому власти делали вид, что ничего не замечают.

Раздраженная до предела, Рошан в конце концов опубликовала статью с грубыми личными выпадами против представителей управления железных дорог, и те возбудили против нее судебное дело. Состоялся суд. Рошан проиграла дело, и на нее был наложен штраф, но она отказалась платить и с ликованием отправилась в тюрьму.

Я ездила повидать Рошан. Прежде чем разрешить мне свидание, начальник тюрьмы, высокий седой шотландец, побеседовал со мной. Не являюсь ли я соучастницей заключенной? Не занимаюсь ли и я беззаконной деятельностью?

Я ответила, что служу у Рошан, но что никаких предосудительных, с точки зрения закона, статей не писала. Не было также и случаев, чтоб я преднамеренно ездила без билета. Шотландец был рад это слышать и перестал смотреть на меня с таким недружелюбием. В этой стране, сказал он, и без того смутьянов достаточно.

— Рошан не смутьянка, — с обидой возразила я. — Если же она и стала такой, то лишь потому, что ее вынудили.

Он молча поглядел на меня, потом холодно уронил:

— Можете быть уверены — она попала за решетку отнюдь не потому, что поддерживала общественный порядок.

— Если она и нарушала порядок, — не стерпела я, хотя знала, что рискую лишиться свидания, — если она его и нарушала, то для этого у нее было достаточно оснований.

— Не сомневаюсь, — сказал он. — Люди всегда находят оправдание своим поступкам.

— Вы ее не знаете. Она…

— Напротив, — перебил он. — Отлично знаю. Знаю со дня рождения. А ее отца знал еще задолго до того, как она появилась на свет. Мы с ним старинные друзья.

Я растерялась. Пока я смотрела на него как на тюремщика, аргументы находились сами собой; теперь же, когда он предстал передо мной в другой роли, мое красноречие как-то сразу иссякло.

Он не отводил от меня взгляда, и в глазах его не было сочувствия, казалось, ему приятно видеть мое смущение. Он спокойно заметил:

— Естественно, ее отец был расстроен, узнав, что она сюда угодила. И я — тоже.

Когда я передала эти слова Рошан, она сказала:

— Думаю, он действительно огорчен. — В голосе ее звучала сочувственная нотка. — Трудно ему, наверно. Я знаю, отец изводит его просьбами, но что он может сделать? И что могу сделать я? Мне не доставляет никакого удовольствия ставить кого-то в трудное положение. *И* в то же время я не могу уклониться от выполнения своего долга.

Удовольствия она, возможно, не испытывала, но и сильного огорчения тоже.

Я оглядела голые стены камеры, в которой мне позволили, видимо, благодаря влиянию ее отца, — повидаться с ней наедине, серый каменный пол, убогую тюремную мебель, маленькое унылое оконце, дверь без ручки, невольно подняла глаза на высокий сводчатый потолок и почувствовала, как что-то медленно сдавливает мне горло. В эту

минуту я не могла не подивиться ее невозмутимости, и мне стало даже немного завидно.

— Надеюсь, тебе тут не слишком неудобно, — начала было я осторожно, но тут же у меня вырвалось: — Тут отвратительно.

— Это так, — согласилась она. — Но все же побыть здесь полезно.

Рошан была одной из тех, кто считает, что ради обогащения своего опыта можно пойти почти на любую жертву.

Когда я уже собралась уходить, вошла надзирательница и сказала, что меня хочет видеть начальник тюрьмы.

— Тюрьма — не место для таких девушек, как вы, — назидательным тоном сказал он. — Надеюсь, вы не наделаете глупостей. Мне бы не хотелось видеть вас там же, где ваша коллега.

— Думаю, вы и не увидите, — вяло ответила я, слишком подавленная, чтобы ответить находчиво.

Он взглянул на меня, и вдруг в его глазах вспыхнул огонек.

— Впрочем, не так уж здесь плохо… Люди привыкают…

Я не согласилась с ним тогда — слишком молода была, чтобы понять, что он прав, что человек

действительно ко всему может привыкнуть. Но я кивнула ему в знак благодарности и что-то пробормотала. Потом вышла на улицу, где в широко раскинувшемся небе сияло солнце, вдохнула полной грудью свежий воздух и почувствовала, как мне опять сдавило горло — на этот раз от радости.

Через три месяца Рошан выпустили. Есть ли, спросила она, какие-либо перемены к лучшему? Да, кое-какие перемены есть, но вряд ли они ее удовлетворят. Тогда она решила выложить властям все, что о них думает. Отговорить ее смог только Мохун, наш главный редактор. Это был высокий худой мужчина с лицом, чем-то походившим на старую скрипку. Двадцать лет из тех сорока пяти, что Мохун прожил на свете, он проработал у англичанина, которого так развратил имперский абсолютизм, что он забыл об элементарных приличиях. Эта служба притупила у Мохуна чувство собственного достоинства, он стал похож на птицу с подрезанными крыльями. Никто, кроме Рошан, не вызволил бы его, наверное, оттуда, и никто, кроме Мохуна, наверное, не знал, чего стоило ему, женатому человеку, отцу семейства, променять спокойную работу в правительственной газете на опасную репортерскую,

а потом редакторскую карьеру в экспериментальном еженедельнике, который принадлежал такой эксцентричной особе, как Рошан.

Тем не менее дело у них пошло: благодаря ее пылкой энергии и финансовой помощи журнал собрал в конце концов столько подписчиков, что мог существовать без дотации. Между Мохуном и Рошан установились прочные товарищеские отношения, основанные на взаимной приязни и уважении и подкрепляемые чувством общей заинтересованности в судьбе журнала, чувством, которое они оба вынашивали с самого начала совместной деятельности.

В тогдашнем своем настроении Рошан вряд ли послушалась бы кого-нибудь другого.

— Нельзя так горячиться, — спокойно сказал он. — Имейте терпение. Для нашей страны это — главное.

— Я хочу видеть перемены при жизни, — возразила она. — Так ли уж важно, что произойдет после меня?

— Согласен. Я ведь тоже думаю о настоящем.

Она смотрела на него, не сводя глаз. Он пожал плечами и продолжал:

— Зачинщиков беспорядков заточают в тюрьму, но все же не лишают жизни… А если запретят

газету?

До этого мнение сотрудников раздваивалось; не зная, кого им поддержать — Рошан или редактора, — они колебались, чувствовали неуверенность; теперь же все сразу объединились и резко склонились на сторону редактора. Они были против каких-либо поспешных шагов, грозивших привести к катастрофе. И Рошан сразу уступила, она почти инстинктивно угадывала, о чем думают люди, и тотчас же реагировала на перемены в их настроении.

Выйдя на свободу, Рошан продолжала искать, пользуясь ее собственным выражением, «какого-нибудь настоящего дела». Неожиданно к ней обратился — по-моему, впервые в жизни — с просьбой Говинд. Мы не виделись с ним четыре или пять месяцев — с тех пор, как он приходил навестить Премалу, — и я помнила его таким, каким знала прежде, — словно и не было тех перемен, которые я заметила во время короткой последней встречи. И вот я увидела его снова: ему не исполнилось еще и двадцати трех лет, но, отягощенный опытом, он выглядел вдвое старше; теперь я видела, что виновато не освещение, как я пыталась себя убедить, и прежний образ Говинда, который я так долго хранила в памяти,

бесследно растаял.

— Нам нужна ваша помощь, — грубовато сказал он. — Люб^я помощь, которую могут оказать такие, как вы, люди.

Рошан вскинула брови:

— «Нам»? Кому это «нам»?

— Мне и моим товарищам.

— А кто они, ваши товарищи?

— Те, кто борется за свободу, — медленно проговорил он. — Думаю, вы знаете.

Рошан долго смотрела на свои ногти и, лишь потом, так же медленно выговаривая слова, ответила:

— Все хотят бороться за свободу… Только разными средствами; я думаю, вы тоже это знаете.

Он кивнул.

— Различия во взглядах — не помеха сотрудничеству. Нам нужны хорошие организаторы и руководители… Не всякий обладает этим даром. Нам нужны люди, которые не боятся тюрьмы.

Она долго молчала. На столе у нее стоял гипсовый макет плотины, великолепная, тонко проработанная копия, — подарок одного из друзей. Рошан осторожно взяла макет в руки и задумалась. Говинд ждал. Он умел помолчать, хотя прошло уже время, когда из него приходи-

лось вытягивать слова. Наконец, Рошан как бы про себя сказала:

— Насилие не сулит ничего хорошего… только разрушение.

Он не ответил. Рошан поставила макет на место и, повернувшись к моему брату лицом, продолжала:

— А меня, по правде говоря, не привлекает разрушение.

Говинд стойко выдержал ее взгляд.

— Не все же сразу, — сказал он. — Сначала это, потом другое.

Он так и не стал оспаривать ее мнение.

После этого я довольно долго не встречалась с ним, но слышала, что он несколько раз виделся с Рошан в редакции и у нее дома. Я этому не удивлялась: он умел ждать, как всякий мужнина, добивающийся своей цели. Да мне и не до Говинда было тогда. Возможно, я беспокоилась бы о нем больше, будь у меня свободное время, но я была очень занята, часто ездила в деревню. К тому же я снова встретилась с Ричардом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Мохун нередко высказывал мысли, которые большинство из нас находили странными. Но он так часто бывал прав, что мы привыкли относиться к его идеям с уважением. Да и вообще с главным редактором спорить не полагается, каким бы доступным он ни казался и какой бы непринужденной ни была обстановка.

— Большую часть населения у нас составляют крестьяне, — сказал он однажды. — Надо о них писать.

— Они же не умеют читать, — возразил было какой-то смельчак.

— Зато другие умеют, — отрезал Мохун.

В другой раз юн сказал, обращаясь к нам, словно учитель — к своему классу:

— Крестьянин — главная опора нашей страны. Не забывайте о важности его роли.

А однажды он ошеломил меня таким предложением:

— Выработана программа переселения крестьян. Насколько я понимаю, душой этого начинания является, супруга губернатора…

Поезжайте-ка туда и попробуйте написать что-нибудь.

Почему именно я? Я же совсем не знаю жизни крестьян. Уж если это в самом деле важное дело, то почему бы ему не послать кого-нибудь посолиднее, а не самую младшую свою сотрудницу?

— Потому что вы выросли в деревне, — объяснил он. — В городе-то вы живете не так уж давно. Кроме того, вы становитесь раздражительны, и перемена места вам не повредит.

Я уже привыкла к тому, что люди читают мои мысли. Но на этот раз кровь бросилась мне в лицо. Я отвернулась, собираясь уйти.

— Почему это вас задевает? — остановил он меня. — Мы не можем изменить самих себя.

— Меня это не задевает, — только и сумела вымолвить я.

К счастью, он перешел на деловой тон.

— Программа, о которой я говорю, несомненно привлечет к себе внимание. Но я не хочу, чтобы вы шли в государственное управление, где вам вручат официальный текст. Я хочу, чтобы вы поехали и посмотрели своими глазами.

— Хорошо, — сказала я.

— Впрочем, все-таки возьмите официальный текст. По крайней мере, будете знать, чего не

надо писать.

— Хорошо, — повторила я.

Я отправилась в правительственное управление, недовольная, даже рассерженная; я ведь не только не знала жизни крестьян, но и не горела желанием ее узнать. Но, как оказалось, хорошо, что я пошла туда, иначе никогда, может быть, не встретилась бы с Ричардом. На официальные приемы я ходила редко, а Ричард как адъютант губернатора, если — верить его словам, только этим и занимался.

Когда меня подвели к его кабинету и открыли дверь, он встал, улыбаясь. Никогда не подумала бы, что его улыбка выражала обычную вежливость, что Ричард сотни раз улыбался точно так же другим посетителям. Но вот он узнал меня, и улыбка вдруг стала иной — сердечной, искренней; Я поняла, что та, прежняя улыбка была лишь маской, в моей душе зажглись огоньки радости.

— Мира! Что вы здесь делаете? — Голос у него не изменился, все те же прежние задушевные нотки.

— Сама не знаю… А вы что делаете?

— Вы переменились, — сказал он. — Раньше вы никогда бы не осмелились задавать такие вопросы.

— Но ведь я и тогда задавала массу вопросов, — возразила я.

— Но не в лоб, как сейчас.

— Прошло уже три года, — напомнила я. — Без малости три.

Три года. Неужели это так? Мне и самой не верилось. Казалось, прошло гораздо больше времени… Или, наоборот, гораздо меньше. С одной стороны, было впечатление, будто целая вечность отделяет меня от того дня, когда я поехала встречать брата с гирляндой цветов, которую преподнесла Ричарду; с другой — будто и не было этих трех лет, — такое живое, кристально чистое воспоминание сохранилось у меня об этом человеке, который поцеловал меня когда-то и сказал, что надеется на более приятное продолжение.

Уже во второй раз за этот день к моим щекам прилила кровь. Я поспешно отвернулась и подошла к открытому окну. Садовник поливал клумбы; сверкала в солнечных лучах помятая жестянка из-под бензина, заменявшая ему лейку, серебрилась льющаяся вода. Бронзовое тело рабочего, обнаженного до пояса, резко выделялось на фоне зеленого газона. Этот газон был гордостью государственного управления и содержался лучше, чем такие же газоны в жилых кварталах или

на территориях клубов. Англичане говорили, что трава на нем почти так же зелена, как и в самой Англии. А над травой в несколько рядов возвышались желтые, оранжевые и красные канны.

— Наверное, здесь очень приятно работать, — сказала я, оправившись от волнения.

Он подошел к окну и встал рядом со мной.

— Да, парк у нас прекрасный.

Комната, в которой мы находились, тоже была прекрасная: просторная, с высоким потолком, позолоченными карнизами и гладким мозаичным полом; на двустворчатых дверях с резными панелями и на окнах висели тяжелые парчовые портьеры с затейливым узором, а посреди комнаты, прямо под потолочным вентилятором, стоял стол из красного дерева, отделанный красным сафьяном с тиснеными арабесками по краям. На столе был украшенный орнаментом медный письменный прибор, из пустой чернильницы торчали гусиные перья.

Ричард сел за стол напротив меня. На нем была форма цвета хаки с алой нарукавной повязкой. Я тоже села, и мы повели разговор о субсидиях и административных делах. Его руки покоились на столе; они были совсем коричневые, только кончики волос золотые.

Потом мы заговорили о колодцах и урожаях риса.

Каким чутьем женщина угадывает взгляд мужчины, скользящий по ее волосам, — изгибу рта, линиям тела? Не знаю, только это чутье есть. Тебя вдруг охватывает внутреннее волнение. Ты сама не понимаешь, откуда оно, это ощущение, но отзываешься всем своим существом, и с этим уже ничего нельзя поделать.

Наконец я неохотно встала; холодный здравый смысл подсказывал мне, что пора идти.

— Не уходите, — попросил он. — Если, конечно, не спешите.

— Мне надо еще поехать в деревню, — сказала я. — Меня предупредили, чтоб я не ограничивалась официальной информацией и не писала с чужих слов, а посмотрела сама.

— В деревню уже поздно, — весело откликнулся он. — Туда два часа езды, да и дорога плохая. Не надо было затевать такой долгий разговор.

— Говорила-то не я, а вы.

— Хотел вас просветить.

— Откуда мне знать, что делается в деревне? Я же не крестьянка.

— А я — крестьянин?

— Я могла бы показать вам много такого, о чем

вы и понятия не имеете, — с обидой возразила я.

— Вот и покажите.

В голове у меня роилось множество ответов, но я никак не могла решить, какой из них был бы самым удачным. К тому же я не знала — радоваться мне или по-прежнему обижаться?

— Я завтра еду в деревню, — сказал Ричард. — Хотите со мной?

«Да!» — чуть было не сорвалось у меня с языка, но какой-то внутренний голос (вероятно, во мне говорил страх, о существовании которого я до сих пор не подозревала) предупредил меня, что я не должна соглашаться. Стараясь скрыть растерянность, я сказала небрежным тоном:

— Право, не знаю…

— Поедемте, прошу вас, — настаивал он.

Я вдруг почувствовала, что теперь могу сказать «да», сказать «нет» я была просто не в силах.

В Индии не бывает густых туманов. Если вы встанете до восхода солнца ноябрьским утром (ноябрь — самый приятный из прохладных месяцев), то увидите дымку, прозрачную и тонкую, как женская вуаль; если дымка окрашена в мягкие светло-серые или бледно-пурпурные тона, значит, день обещает быть прохладным; если же она не серая, а золотистая, хотя солнце еще

не взошло, то можете быть уверены, что день будет жарким, настолько жарким, насколько позволяет время года. Но бывают утра, когда воздух отливает множеством цветов, напоминая внутреннюю поверхность раковины. Такие утра необыкновенно прекрасны, и то, что невозможно предсказать, каким будет день, придает им еще большее очарование.

Я проснулась на рассвете. Ричард должен был заехать за мной не раньше девяти, но я уже не смогла больше заснуть, оделась, вышла и, оглядевшись кругом, не пожалела, что встала рано.

Кит и Премала еще спали, слуги тоже не появлялись; не спала лишь уборщица Арикамма, которой влетало, если она не заканчивала свою работу до того, как вставали остальные. Увидев меня, она немного удивилась, но улыбнулась, исполненная дружелюбия и того интимного чувства, которое соединяет двух людей, бодрствующих в сонном царстве.

— Раненько вы встали, — сказала она, распрямив спину и уперев руку в поясницу.

— Да. Утро такое чудесное, что грешно оставаться в постели.

— Утро — самое лучшее время, — согласилась Арикамма, хотя давно, наверное, привыкла не

замечать этого. Она опять улыбнулась и, нагнувшись, возобновила работу. Ее метелка описывала широкие ровные дуги, наметая кучки неведомо откуда взявшейся пыли и пуха.

Я оставила ее и ушла в сад. Роса еще не высохла; она сверкала в сотканных ночью паутинах, серебрила пальмовые листья, орошала на дорожках гравий.

К семи часам роса улетучилась, я вернулась домой и вдруг почувствовала, что проголодалась. Но завтрака еще не было, его никогда не подавали раньше восьми, как бы вам ни хотелось есть. Слуги, заметив мое нетерпение, тоже, казалось, стали нервничать… Но вот наконец и завтрак: яйца, поджаренный хлеб, джем и кофе; так привык завтракать Кит, так привыкли завтракать Премала и я.

В то утро Премала не вышла к завтраку — вот уже три-четыре дня, как ей нездоровилось — и попросила принести еду в спальню. Кита тоже еще не было — он редко появлялся в столовой раньше девяти. Я сидела одна и уже кончала завтрак, как вдруг услышала шум приближающегося автомобиля. Я залпом допила кофе И вышла.

— Я приехал пораньше, — сказал Ричард, вылезая из машины. — Надеялся, что вы уже готовы.

Ну, а если не готовы, то могу и подождать.

Я хотела было сказать ему какую-нибудь дерзость, но раздумала, увидев, что он только этого и ждет.

— Уже давным-давно готова, — сказала я, садясь в машину. — Я встала в пять часов.

— Зачем же?

— Очень уж славным показался мне день, — ответила я с некоторым замешательством.

— Представьте — и мне тоже, — сказал он, и вдруг нас обоих объединило какое-то новое чувство, чувство сердечной теплоты и доверия.

Район, в котором мы жили, называли «жилым районом», хотя жителей там было гораздо меньше, чем в других частях города. Территория эта была явно великовата для немногочисленного населения; мы ехали уже полчаса, а все еще видели по сторонам белые бунгало— легкие просторные строения, расположенные на обширных участках и окруженные ухоженными садиками с аккуратно подстриженными зелеными изгородями и цветочными клумбами, образующими изящные симметричные узоры. Конечно, никаких границ у этого района не было, но не составляло труда заметить, где он кончается: за его пределами уже не видно было ни таких нарядных коттеджей,

ни садиков.

Люди, подобные нам, селились в «жилом районе». Все остальные теснились в узких улочках, где дома налезали друг на друга, где не было ни садиков, ни аккуратных, симметричных клумб, а только грязь и мусор. Эти нищие кварталы напоминали своим видом старые, замызганные, давно не сменявшиеся бинты. Тут жили никому не ведомые люди, и не было жилищ, достойных именоваться домами, лишь ветхие покосившиеся лачуги да приткнувшиеся тут и там лавчонки, где продавали сладости. Черные жирные мухи, густо облеплявшие эти сладости, походили на семечки подсолнуха. И всюду вы натыкались на бездомных собак; лежа в пыли, они чесались и лизали свои кровоточащие язвы.

Но вот последние лачуги, к моей радости…остались позади, и мы выбрались из города. Дорога сузилась, в ней стали попадаться глубокие колдобины. Местность была настолько ровной, что дорога просматривалась далеко вперед, и только сзади нас ничего не было видно из-за похожей на молотый красный перец пыли, клубившейся из-под колес машины.

Доехав до первой деревни, мы остановились. Селение это было таким же, как все: колодец, ри-

совое поле, пальмовая рощица, десяток хижин… Ничто не говорило тут о переменах, тем более о присутствии переселенцев; слишком тихой и мирной была обстановка.

— Я подумал, что вы устали, — сказал Ричард.

Я была вся в пыли, но не устала, — день выдался нежаркий.

— Ну, все равно, — сказал он. — Здесь приятно. Вы не находите?

Я кивнула, и он поставил машину в тень под деревьями. Прямо перед нами лежало молодое нежно-зеленое рисовое поле. Со всех сторон к нам бросились голые коричневые дети; они не шумели, не кричали, а лишь с чрезвычайным любопытством разглядывали нас. Спешить им было некуда.

Но мы-то спешили и тем не менее не трогались с места. Наконец Ричард сказал:

— Пить хочется. Вы взяли чего-нибудь с собой?

— Нет. А вы?

— Милая моя, — засмеялся он. — Разве я женщина, чтоб думать о таких вещах?

Я вылезла из машины и послала одного из детей за кокосовыми орехами. Потом мы пили сок, который показался мне удивительно сладким. И весь мир был полон сладости.

Мы доехали до места в самом конце дня. Там уже собралось много людей; остальные, видимо, выехали гораздо раньше нас и нигде не останавливались. Судя по их возбужденному и немного усталому виду, они пробыли здесь уже довольно долго, к тому же и работа у них не ладилась. Не обошлось и без жарких споров. Не так-то легко осуществлять начертанные на бумаге планы. За одну ночь целую деревню не построишь. Она создается медленно и спокойно, где-нибудь у реки или рощи, хижина за хижиной: сегодня одна тростниковая крыша, завтра — другая, и не один урожай приходится вырастить и собрать прежде, чем жизнь войдет в свою колею. Но^се-таки ради людей надо пытаться ускорить ход событий.

Первая партия переселенцев толпилась в стороне от чиновников. Молчали не только мужчины, но и женщины; видимо, все растерялись. Глядя на них, я вдруг поняла, что значит для них это переселение, что значит покинуть землю, в которую они вросли корнями. Обездоленные. Так их всегда называют. Правда, у них и раньше не было собственности, во всяком случае, земля, которая их кормила, принадлежала не им, хотя они и привыкли считать эту землю своей. Так уж повелось издавна.

— Все должно… утрястись… — сказал Ричард. — Тогда будет не так грустно.

— Да.

— Через месяц они повеселеют. Я уже все это видел. Дважды.

Он уже видел это дважды, хотя не прожил в стране и трех лет. А я вижу впервые, да и то ехала сюда без особой охоты.

— Они похожи на сорняки, — продолжал он. — Так же быстро пускают корни.

Но сначала они должны получить землю!

— Я слышала, что землю им дает ее превосходительство.

Он как-то странно посмотрел на меня.

— Разве не все равно, кто дает землю?

«Для тех, кому земля больше всего нужна, — все равно, — подумала я. — Что же до остальных…»

— Разве им не все равно, — безжалостно настаивал он.

Что я могла ответить? В других странах, в другое время, пожалуй, это не имело бы значения. Но здесь, в Индии, в разгар мировой войны и гражданской войны… Я молчала. Ричард тихо заметил:

— И вы тоже заразились этой болезнью — противопоставляете «ваш народ» «моему народу»?

Я подумала и ответила «нет». Мне казалось, что я говорю правду. Казалось, в моем сознании нет такого уголка, куда я не могла бы проникнуть. Тогда я не- знала — еще не знала, — что ни один человек не может постичь самого себя до конца.

В деревне оказалось всего несколько готовых хижин. Их построили не сами крестьяне, а рабочие, которых привозили из города. Кроме того, там было разбито несколько палаток (они предназначались, очевидно, для чиновников), странно и нелепо выделявшихся своим белым цветом на красно-бурой земле. В самой большой из них, должно быть, помещалась штаб-квартира организации, которая занималась переселением. В ней было довольно много англичан и индийцев; почти все они стояли (стульев не было), лишь кое-кто из индийцев со смущенным видом сидел на земле, поджав под себя ноги.

Посреди палатки на прямоугольном столе красовался грубо сделанный макет будущей деревни. Макет был ярко раскрашен дешевыми акварельными красками. Если бы не флажки, никто не мог бы определить назначение отдельных построек. На флажках имелись надписи «Молочный завод», «Клиника», «Школа». В этих картонных домиках было столько прямолинейной смело-

сти, не подточенной никакими сомнениями, столько притягательной силы, что я почувствовала себя растроганной. Только бы не случилось чего-нибудь такого, что сорвет осуществление этого плана.

— Ричард…

— Да?

— Надеюсь, все будет хорошо… Я хочу сказать, надеюсь, что деньги не кончатся прежде, чем будет завершено строительство.

Мы только что вышли из хижины и направлялись к машине. Услышав мои слова, Ричард остановился и внимательно посмотрел на меня.

— А что? Разве вам не все равно? — спросил он.

— Нет.

Он улыбнулся.

— Вчера вы не очень-то беспокоились.

— Откуда вы знаете?

— Но ведь правда?

Я промолчала, он тоже ничего больше не сказал и, только когда мы сели в машину и поехали, заметил:

— Вы не одна такая. Большинство людей страдает недостатком воображения.

Охваченная глухим раздражением, я молча выглядывала из окна машины.

— Дорогая, — сказал он, — вы прелестны, когда сердитесь. Да и всегда прелестны. Вы это знаете?

Слова эти прозвучали в моих ушах, как чудесная музыка. Я не сомневалась, что он говорит искренне. Радость хлынула золотистым потоком, переполняя все Мое существо.

Мы подъехали к той самой деревне, где останавливались первый раз утром. На фоне темнеющего небосклона неподвижные верхушки пальм казались огромными черными веерами.

Машина стала. Я знала, зачем он ее остановил, об этом не надо было спрашивать, и все же спросила. Но не успела я закончить свой вопрос, как его губы прильнули к моим губам. Я вся подалась к нему, но он отодвинулся и отстранил меня. Потом еще раз слегка коснулся меня губами, стараясь успокоить, и сказал:

— Вы уже взрослая. Боже мой, совсем взрослая! А ведь прошло всего три года!

Взрослая. Когда мы впервые встретились, я уже не была ребенком. Это он считал меня ребенком. Да и три года — немалый срок. Особенно, когда столько думаешь о мужчине.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Столичная жизнь во многих отношениях похожа на жизнь периферийных городов; суть та же, только краски богаче и узоры более замысловатые.

С десяти до пяти вы на службе; потом играете в скуош или в гольф (в зависимости от вашего возраста); затем — выпивка и ужин: либо вы ужинаете с кем-то, либо кто-то ужинает с вами; потом едете в свой клуб на партию бриджа или бильярда или, если предпочитает выпивку, — снова в бар. По субботам в клубах устраивают танцы; и тогда, в саду, между деревьями, протягивают гирлянды лампочек. Воскресные утра вы проводите в чьем-нибудь доме, где собирается на завтрак компания, или ждете гостей у себя дома. Если вы женщина, то в будние дни, поутру, трижды-четырежды в неделю, встречаетесь с другими женщинами, чтобы поиграть в маджонг, а остальные два или три утра делаете бинты для Красного Креста: это рассматривается, как ваш вклад в военные усилия.

Изредка бывают балы в Доме правительства:

один — когда кончается дождливый сезон и начинается жаркая погода, второй — когда кончается жаркая погода и люди возвращаются с горных курортов, и третий — когда отмечают день рождения его величества. Достаточно вам не появиться хотя бы на одном из этих балов, как вас отодвигают на задворки. Никто уже не вспоминает о. вашем существовании и не присылает вам никаких приглашений.

Таким образом, три раза в году вы волнуетесь, нервничаете, страдаете, обиваете пороги учреждения, где хранится книга посетителей, всячески ловчите, стараясь не выходить из рамок приличия, и снова напряжённо ждете, пока не получите, слава богу, желанного билета с золотой каймой.

Тем, кто знает многочисленные неписаные законы и обычаи этого круга (новичков в них либо вовсе не посвящают, либо посвящают весьма скупо), такая жизнь довольно приятна; для тех же, кто этих законов и обычаев не знает, не находится места, и если они все же пытаются проникнуть в высший свет, им нет никакой пощады.

Говинд никогда не был вхож в светское общество. Для него все эти законы и обычаи были плодами чужой культурны, — культуры другой

расы, искусственно пересаженной на новую почву, оторванной от привычной среды и. переставшей быть подлинной. И он глубоко презирал тех, кто стремился приобщиться к этой культуре.

Но Кит не просто к ней приобщался — он воспринял ее всем своим существом. Его отношение к Западу не было всего лишь флиртом, мимолетным увлечением, которое можно легко побороть и забыть или, в лучшем случае, вспоминать с легким сожалением. Нет, его чувство было глубже: он понимал и любил Запад.

Рошан тоже питала симпатию к Западу. Но она в такой же степени принадлежала и Востоку: родившись в одном мире и получив образование в другом, она выросла в оба, чувствуя себя и там и здесь легко и непринужденно. Это было двойное гражданство, которым обладали немногие; кое-кто, возможно, решительно отверг бы такую двойственность, но тех, кто завидовал, было больше. Она же воспринимала свое положение, как само собою разумеющееся. И самым любопытным было то, что оба мира охотно принимали ее.

После того как она вышла из заключения, начальник тюрьмы и надзирательница продолжали ее навещать. И Рошан относилась к ним, как к друзьям. Она часто бывала на фабриках

отца, и прядильщики и ткачи разговаривали с ней, как с равной. На танцы она приходила в красных лакированных туфлях и ярких, как крылья бабочки, сари; ее наперебой приглашали не только индийцы, но и англичане. Влияние Запада, сказывавшееся в ее облике и поведении, не. компрометировало ее даже в глазах Говинда, а ведь его глаза смотрели на всех строго, ревниво, они и раньше-то редко бывали добрыми, а в последнее время и подавно.

А Премала? Даже теперь, через десять лет, когда утекло столько воды, я не могу думать о ней без боли, поэтому стараюсь не вспоминать ее скромность, переходящую в мучительную застенчивость, ее милое, расстроенное, обиженное личико — прекрасное, тонкое личико, которое не утратило нежности, потому что Премала так и не очерствела, но которое постепенно тускнело и блекло.

Если бы она любила Кита не так сильно, то не так бы и стремилась сделать ему приятное. Но именно это ее рвение, эти ее неуклюжие старания «делать все, как положено», могли вывести из себя мужчину куда более терпеливого, чем Кит.

Вначале они всюду бывали вместе: Кит проявлял редкое терпение. Но совсем нелегко, находясь

на самом гребне волны успеха, постоянно сознавать, что под тобою— бездна, или отказаться от радостного ощущения взлета ради тех, кто завяз в болоте; и Кит стал все реже и реже брать ее с собой (хотя она ни за что не отказалась бы от приглашения). Исключение составляли лишь официальные приемы, где необходимо было присутствие жен.

Приходилось иногда и самим принимать гостей — этого невозможно было избежать. И здесь, даже при наличии хорошо вышколенных слуг и несмотря на то, что сам Кит был отличным хозяином, на ее долю выпадала трудная роль хозяйки. Роль эта достаточно сложна для любого человека, который соприкасается с людьми из иного мира, разговаривающими едва ли не на другом языке, а для Премалы, не получившей соответствующего воспитания и не обладавшей искусством скрывать свои мысли, она была просто непосильна.

Для Кита званые обеды были развлечением: веселый, беззаботный, он возвращался с теннисного корта, взбегал по лестнице и наскоро принимал душ, затем спускался с сияющим видом вниз, подбадривал слуг то шуткой, а то — похвалой по поводу какого-нибудь блюда или хорошо подобранного букета (слуги очень старались угодить

ему, и это знаменательно, потому что англичанкам далеко не всегда удается побудить своих слуг к такому усердию), и когда наступало восемь часов вечера, уже блистал в обществе. Премала же, наоборот, сникала, настораживалась, внутренне напрягалась, все ее движения, жесты, такие изящные, когда она находилась среди знакомых, становились неуверенными, скованными.

— А вот и они, — объявлял Кит и сбегал с крыльца навстречу своим друзьям.

Весело переговариваясь, они гурьбой поднимались на веранду, куда выходила потом и Премала. Она робко улыбалась и молчала. Наступала небольшая заминка, но вскоре разговор начинался снова, он лился плавным потоком, обтекая хозяйку, застрявшую среди рифов своей застенчивости.

Потом все садились ужинать, и тогда разговор шел о званых вечерах, которые были или еще будут, спортивных турнирах в клубах, об их общих друзьях, а иногда, если кто-то из гостей недавно вернулся из путешествия, начиналась оживленная беседа о Лондоне, о новых лондонских спектаклях, об игре в крикету Лорда, о скачках в Эпсоме и вообще об Англии — об Оксфорде теперь упоминали уже редко. Обо всем этом Премала

почти не имела понятия и с каждым разом все меньше и меньше участвовала в разговоре. Она, по обыкновению, молчала; но это молчание не означало спокойствия— она краснела при каждой случайно брошенной ей фразе, если эта фраза требовала от нее какой-то реакции.

Однажды она забыла о своих обязанностях. Ужин кончился, женщины ждали, когда она подаст знак выйти из-за стола, но знака не последовало. Затихший было разговор возобновился, а Премала все еще не поднимала глаз. Слева от нее сидела миссис Бэрдетт (в тот вечер на ужине женщин было больше, чем мужчин) — моложавая дама, игравшая в теннис с мужскими ухватками и обычно выступавшая в паре с Китом. При желании она могла бы вывести Премалу из задумчивости — для этого достаточно было легкого прикосновения или жеста, но не пожелала этого сделать и продолжала спокойно сидеть — равнодушная, немного скучающая, с выражением глубокой покорности на лице, как бы показывая, что ничего другого она и не ожидала.

Напротив сидел ее муж, невысокий, добродушный на вид мужчина. Он беспокойно ерзал на стуле, тщетно пытаясь поймать взгляд своей жены; казалось, он готов был пихнуть ногой

ее или даже Премалу. Между тем беседа снова начала иссякать, и в паузах возникало ощущение неловкости, смущения, сочувствия к Киту, раздражения против Премалы, а вместе с раздражением — и некоторой жалости к ней.

Кит, сидевший на противоположном конце стола, потерял надежду привлечь внимание жены и довольно резко, хотя и старался придать своему голосу шутливый, тон, сказал:

— Как ни приятно нам твое общество, Прем…

При этих словах Премала вздрогнула, побледнела и вскочила со стула, впопыхах опрокинув солонку. Потом машинально, неловкими движениями принялась сгребать соль обратно, но тут же спохватилась, и мы, наконец, вышли из-за стола.

К одиннадцати часам (раньше обычного) в доме уже не осталось ни одного гостя. Прежде Кит, проводив гостей, сразу же отправлялся наверх и ложился спать, а мы с Премалой убирали серебро и вина. Но в тот вечер он вернулся в столовую молча, не глядя на нас, налил себе виски, закурил и сел на стул. Премала подошла к нему и тихо сказала:

— Извини, Кит… Не понимаю, как это я забыла… Очень глупо получилось.

Он поднял на нее глаза.

— Не важно. — В голосе его угадывалась легкая усталость. Он встал и добавил: — Но вообще-то, Прем, такую мелочь можно было бы и помнить.

Если бы Кит не устал тогда… И не чувствовал бы себя немного раздраженным… Если бы вечер не был таким тягостным… Если бы, если бы! Какое это имеет теперь значение? Слова-то были сказаны. Справедливые и очень обидные слова. А на его жене не было брони, которая спасала бы от ударов либо помогала скрывать раны. Пораженная, Премала молча посмотрела на Него, лицо ее съежилось. Через миг она поспешно вышла из комнаты.

Несколько минут Кит сидел в нерешительности, потом последовал за ней.

Я продолжала медленно делать то немногое, что оставалось несделанным; убирала виски в бар, — весь в сверкающих стеклах и зеркалах. Стоило распахнуть дверцу, как в нем вспыхивал яркий свет. Потом открыла сейф, вделанный в стену столовой, и стала складывать туда серебро. Тут я вспомнила, что на Премале было рубиновое ожерелье… Наверно, она захочет положить его в сейф. А может, не захочет? Я постояла немного в нерешительности, потом захлопнула дверь

сейфа, задвинула тяжелые засовы, заперла замки и прикрыла замочные скважины накладками. Я перебирала в руках ключи, не зная, куда их деть, и в это время услышала шаги Кита. Он шел в гостиную, и я последовала за ним.

— Вот ключи от сейфа, — сказала я.

Он взял ключи и положил их на стол.

— Ты лучше спрячь, — предложила я.

Он послушно сунул их в карман. Казалось, он делает это машинально.

— Ума не приложу, — сказал он. — Не могу понять, что С ней творится. Может быть, я во всем виноват? Как ты думаешь?

Милый Кит. Смотрит на меня немигающими глазами— такими же, как у мамы и как у меня. В глазах его недоумение. Боль. Он хочет знать, просит меня объяснить. Но что я ему скажу? Дьявольски несправедливо, что остроты зрения лишены как раз те, кто в этом больше всего нуждается!

Сказать ему, что Премала немного расстроилась, но завтра обо всем забудет. Не волнуйся, за ночь буря уляжется. Сказать: «Это пустяки, поверь мне, завтра все будет так, словно ничего не случилось»? Можно было сказать так. Успокоить его. Согнать с его лица это выражение. Но

я не могла.

— Час поздний, тебе надо отдохнуть, — сказала я, взяв его за руку.

Казалось, брат не слышал меня. Он продолжал сидеть, понурив голову. Кисти его рук безжизненно свисали с колен, волосы закрывали лоб.

— Поздно уже, очень поздно, — повторила я, стараясь его растормошить. — Ты должен поспать, иначе будут темные круги под глазами.

Он выпрямился, улыбнулся мне и сказал тихим усталым голосом:

— Мирабай!

— Что, Кит?

— Не расстраивайся из-за меня. Ни из-за чего не расстраивайся.

Он встал, поправил шевелюру. Я хотела проводить его до кровати, но он легонько отстранил меня.

— Со мной все в порядке, — мягко сказал он. — В полном порядке. — Он поцеловал меня, и я услышала его удаляющиеся шаги.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В деревню Премала стала ездить по предложению Кита.

— Тебе, должно быть, там тоже понравится, — заверил он ее. — Бог знает зачем, но Мира ездит туда довольно часто.

— Меня посылают, — сказала я.

— Но не часто. А ты ездишь часто.

Премала согласилась — она на все была согласна. Свойственная ей послушность давно уже переросла в безразличие.

Мы съездили с ней один раз, потом другой и третий. Ричард оказался прав: переселенцы пустили корни на удивление быстро. Переселение началось в ноябре, а к апрелю рис на полях почти уже созрел.

«Первый урожай, — говорили крестьяне. Срывая рисовые колосья, они быстрыми движениями пальцев снимали шелуху и показывали нам белые зерна. — Первый урожай… Бог даст — не последний». А мы подхватывали: «Бог даст — не последний»?

Деревня, правда, еще не стала обычной дерев-

ней, она все еще носила печать искусственности. Но рано утром, до того, как начинали достраивать клинику, законченную только наполовину, и школу, уже — почти законченную, до того, как начинали бурить второй колодец (бурение производит больше всего шума), в эту пору, когда над крестьянскими хижинами, где хозяйки пекли лепешки, вились голубоватые дымки, когда над рисовым полем шумел ветер и в воздухе разносился запах земли, влажной от ночной росы, и новых тростниковых крыш, которые пахнут совсем не так, как старые, казалось, будто деревня эта была здесь всегда.

Когда мы приехали туда в четвертый раз — это было в июне, — школу уже построили. Человек, наблюдавший за работами с начала и до конца, пригласил нас внутрь. Нас это удивило: мы достаточно хорошо знали его в лицо, но ни разу с ним не заговаривали. Он был миссионером, мы же были индусками, и между нами, следовательно, пролегала целая пустыня непонимания. Возможно, однако, что он испытывал потребность поделиться с кем-нибудь своей радостью, хотя по его внешнему виду ни о чем нельзя было догадаться.

— Я часто видел вас здесь, — сказал он, — и

мне показалось, что вам хотелось бы посмотреть нашу школу.

И это было все. Никаких признаков волнения, никаких следов радости по поводу окончания многомесячного труда. Обыденные, невыразительные слова, как будто он боялся собственных чувств. И в то же время в нем угадывался какой-то внутренний пыл, тщательно прикрытый личиной сдержанности; такими бывают люди, познавшие горечь неудач, но не потерявшие надежды на успех. Поэтому мы с удовольствием ответили:

— Да, нам хотелось бы посмотреть.

Внутри было четыре классных комнаты (вернее, одна большая комната, разделенная деревянными перегородками на четыре части), и в каждой из них помещались классная доска на подставке, стол и стул. А в двух комнатах, кроме того, стояло по три-четыре деревянных скамьи.

— Младшим школьникам придется сидеть на полу, — объяснил он и, видя, что я улыбаюсь, добавил: — Разумеется, они к этому привыкли, но ведь цементный пол и земляной пол — не одно и то же, не так ли?

— Совсем не одно и то же, — вежливо согласилась Премала. — Цементный пол жесток.

Мужчина взглянул на нее, и по его лицу пробежала темная тень. Казалось, он не вполне ее понял: он, видимо, привык улавливать в невинных на первый взгляд словах людей насмешку. Но убедившись, что она молода и бесхитростна, как бесхитростна, ее речь, он немного успокоился.

— Мне кажется, вы хотели сказать — жёсток, — уточнил он. — Пол может быть жестким, но не жестоким. Вы меня понимаете?

Он говорил тоном человека, привыкшего поучать других. Премала кивнула в знак того, что поняла свою ошибку в английском языке. У нее был вид ученицы, впервые переступившей порог школы.

— Да, понимаю… Только люди могут быть жестокими.

Премала казалась уже не просто ученицей, а отличницей: миссионер смотрел на нее с восхищением. Теперь он нас не отпустит, пока мы не осмотрим все это пустое здание.

Мы поднялись наверх; там помещались две длинные комнаты, отведенные под общежитие: два ряда коек с веревочными сетками, и в обоих концах каждой комнаты — по небольшому шкафу.

— Сначала мы хотели построить индивидуаль-

ные шкафчики, — сказал он, — но потом решили, что не надо. Вряд ли у них будет, что запирать.

На лице его появилась робкая улыбка; мы невольно улыбнулись в ответ.

— Я думала, здесь будет школа, а не… — Премала запнулась.

— Приют для сирот, — закончил он за нее. — Мы сочли, что лучше предусмотреть все сразу… Опыт подсказывает, что сироты тоже находят дорогу в школу. Они уверены, что мы их не прогоним. Да мы и не захотим прогонять, — поспешно добавил он.

— Но вы не сможете принять всех, кто придет?

— До сих пор принимали, — ответил он просто. — Мы трудимся, молимся, и молитвы наши никогда не остаются без ответа.

Да, молитвы не остаются без ответа: строительство расширяется, изыскиваются средства, организуется питание детей… Он был так тверд в своей вере, что и мы почти поверили. Здесь, среди нищеты и голода, среди людей, которым неоткуда было ждать помощи, он сохранил веру в провидение.

Когда мы уходили, Премала сказала:

— Все это в самом деле… в самом деле достижение.

Он снова, как и в первый раз, недоверчиво посмотрел на нее. «Все это»? Что — «это»? Здание? Оно совсем маленькое. И обстановка убогая: есть где присесть, есть где прилечь, да еще одна-две классных доски…

— Вам есть чем гордиться. — Она говорила так убежденно, что даже он перестал сомневаться.

Лицо его просияло: похоже было, что он вот-вот скажет «да»; но он сдержался и не произнес этого слова. Так ярко было вспыхнувший свет радости внезапно погас, повинуясь его воле.

— Я очень рад. — Это было все, что он сказал.

Через полмесяца после окончания строительства школу открыли. Заглянув туда днем, вы увидели бы ряды учеников. Иногда они сидели чинно, с серьезным видом. Чаще всего в их глазах светилось любопытство. Особенно, когда они смотрели на стоявшего у доски долговязого, нескладного миссионера Хики. В худом желтом теле этого человека, должно быть, таился немалый запас энергии. Не так-то легко было заманить непослушных озорников с улицы в класс, но, пожалуй, еще труднее было удержать их в школе после занятий, которые постепенно утрачивали свою новизну и начинали наводить скуку. Для этого требовалось поистине неисто-

щимое терпение. Правда, ему помогало то, что занятые па полевых работах родители не прочь были избавиться на какое-то время от своих чад, тем более что в школе кормили бесплатными завтраками.

После открытия школы Премала стала наведываться туда часто и регулярно. Дважды в неделю в восемь часов утра она уезжала из дома и возвращалась не раньше восьми вечера, хотя дорогу заасфальтировали и поездка в один конец занимала теперь не более часа. Каждый раз она возвращалась сияющей, оживленной, словно ее иссохшая душа припадала к некоему освежающему источнику.

Киту было приятно видеть ее такой, но иногда им овладевало беспокойство, хотя он и не пытался отговаривать ее от этих поездок. Не в силах скрыть раздражение, он говорил: «Премала питает какое-то странное пристрастие к чудакам»! Или: «Ума не приложу: что она нашла в этом человеке?» Но это был один из тех вопросов, на которые может ответить лишь тот, к кому они обращены, да и то далеко не всегда.

Спустя примерно месяц он сказал, глядя на нее с удивлением и любопытством:

— Не понимаю, как ты можешь спокойно пере-

носить все это, Прем! Ведь им бы только обратить ребятишек в свою веру. Этот парень, миссионер, от своего не отступится. Нет, я решительно не понимаю, как ты можешь поддаваться на их жалкий обман!

Вообще-то говоря, Кит не относился к числу ярых приверженцев индуизма. Если он и ходил в храм, то лишь потому, что его водила туда мать. В последний раз он видел священнослужителя на своей свадьбе; если бы его спросили, какую религию он исповедует, то он либо счел бы такой вопрос бестактным и не ответил бы на него, либо вежливо уклонился бы от разговора на эту тему. Но с Премалой дело обстояло иначе: религия была неотъемлемой частью ее жизни, она верила глубоко и искренне.

И в то же время всякое неуважение к индуизму, даже косвенное его отрицание путем проповеди другой веры, вызывало решительный протест прежде всего у Кита. Верность традициям, отвращение к тем, кто навязывает свои убеждения, врожденное уважение к собственной религии — все это заставляло его быть нетерпимым, враждебным ко всем, кто пытался обратить ее приверженцев в другую веру.

Но религиозность Премалы была слишком

глубокой для того, чтобы ей могло повредить чужое влияние.

— Намерения у него самые добрые, Кит, — спокойно заверила Премала. — Конечно, его взгляды не такие, как у нас…

— Очень уж они узки, его взгляды, — возразил Кит. — Я не знаком с этим парнем, и у меня нет никакого желания знакомиться, но я знаю эту породу людей. Не понимаю, как ты можешь терпеть их назойливую болтовню!

— Намерения у него добрые, — повторила Премала, ласково посмотрев на Кита. — Он хороший человек… Дети его очень полюбили.

Для нее доброта была высшей добродетелью, — все остальное не имело значения. К каждой людской душе надо подобрать свой ключ. Кита привлекали люди беззаботные, остроумные, веселые, Говинда — те, кто с почтением относится к родине, к отцу, к матери, а Премалу — добрые люди.

Однажды Премала привезла с собой маленькую девочку с блестящими, как у черного дрозда, глазенками. На вид ей не было еще и года.

— В школе нашли, — объяснила Премала чуть виноватым тоном. — По-моему, она ничья. Сельский глашатай едва не охрип, опрашивая

местных жителей… Я сказала, что присмотрю за ней пока… В школе уже нет места, к тому же она слишком мала, все равно ее нельзя там оставлять.

Кит пробормотал что-то невнятное. Видно было, что он не очень доволен.

Прошла неделя, потом другая. Девочка, с присущей маленьким детям приспособляемостью, быстро привыкла к новой обстановке. Если она и вспоминала когда-нибудь свой дом и свою мать, которая ее бросила, то ничем этого не выдавала. Маленькая смуглянка беспрестанно ползала по полу дома, хватаясь ручонками за блестящие предметы, попадавшиеся ей на глаза; и радовалась, если у нее их не отнимали, или проявляла философское смирение, если отнимали. Проголодавшись, она подходила к Премале и объясняла ей по-своему, но достаточно выразительно, чего хочет. Если голод был очень силен, опа хныкала, доверчиво глядя на свою покровительницу. Поев, ложилась спать, и больше ее не было слышно до следующего утра или до Тех пор, пока опять не наступало время еды.

Киту понравилась эта добродушная, общительная малютка. Но в конце второй недели он все же спросил Премалу, что она намерена с ней

делать. Премала сидела на полу, вместе с девочкой забавляясь мягкими игрушками. Услышав вопрос мужа, она встала и села на диван. Ребенок примостился у нее на коленях.

— Не знаю, Кит. Хорошо бы нам оставить ее у себя.

— Оставить у себя! — повторил Кит. Он был ошеломлен. — Да ты с ума сошла, Прем!

Премала побледнела и испуганно посмотрела на него. Лицо ее выражало отчаяние. В эту минуту она походила на кошку, у которой отнимают котят.

— Ей же некуда деться, — почти шепотом сказала она. — Потом вдруг с чувством добавила: — Прошу тебя, Кит! Позволь мне оставить ее у нас.

Кит удивленно взглянул на нее. Он еще никогда не видел ее такой возбужденной.

— Ладно, — сдался он. — Раз ты так хочешь… Но учти: люди могут подумать, что я переспал с горничной, и ты приютила моего внебрачного ребенка.

— Разве так важно, что подумают люди? — спросила Премала. — К тому же девочка совсем на тебя не похожа.

— Дети не всегда обнаруживают сходство с

отцами, — нетерпеливо ответил Кит.

— Незаконные — всегда, — с улыбкой возразила Премала.

Как и следовало ожидать, разговоры действительно пошли. Хотя город, в котором мы жили, был достаточно велик, Кит вращался в узком избранном кругу, который мог простить супружескую неверность, но не открытое, как казалось со стороны, бравирование ею.

Премалу это не смущало. Она была совершенно искренна, когда говорила, что ей безразлично мнение посторонних. Лишь бы у ребенка был свой дом. Но Кит не оставался безразличным — он нервничал, становился все более раздражительным и уже редко бывал с девочкой ласков. И все же он не перечил Премале, ибо, насколько я его знала, отличался врожденным добродушием.

Премала, щадя его чувства, держала ребенка как можно дальше от него и все чаще ездила в деревню, где люди проявляли большую терпимость, чем в городе, и где ее и ребенка принимали, как своих.

Так у нее появился собственный мир. В том мире, где обитал ее муж, она не смогла найти себе места.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Не представляю, каким образом влюбленный человек успевает заниматься чем-то еще, кроме любви, ибо она захватывает его целиком и полностью. И тем не менее я ела, спала, а когда не спала, сознавала все происходящее вокруг меня; ездила в редакцию, работала, причем работала, кажется, неплохо — никто не жаловался. Иногда (хотя это случалось и редко) я чувствовала себя раздвоенной; одна часть моего «я» как бы смотрела на другую и говорила: «Ты счастлива, но это — безумие». А та, другая часть молчала: с нее было достаточно и того, что она счастлива, и в своей радости она забывала обо всем остальном.

Пока деревенские жители устраивались на новом месте, мы виделись с Ричардом раз в неделю. Наконец, они окончательно обжились, и нам уже незачем было туда ездить; но наши еженедельные свидания все равно продолжались. Потом мы стали видеться дважды в педелю, а иногда и чаще, но даже и этого нам было мало, и в конце концов мы стали встречаться где только можно и когда можно. Перерыв в нашем знакомстве,

длившийся несколько лет, теперь уже не казался мне таким долгим: иногда, бродя с Ричардом по базару, я чувствовала себя так, словно я в своем родном городе, откуда Ричард никогда. не уезжал. Думаю, что он чувствовал то же самое. Однажды он, крепко сжав мне руку, сказал:

— Мне кажется, мы давно уже вот так вместе. А тебе?

— И мне тоже.

Но разница все же была: в те дни мы были свободны, и часы, которые мы проводили вдвоем, не казались нам такими короткими и быстротечными; теперь же время не принадлежало нам, мы могли встречаться только вечерами. И хотя мы крали время у ночи, нам казалось, что мы почти совсем не видимся.

Но это было не так — мы очень часто ухитрялись бывать вдвоем. Чуть ли не каждый день вместе обедали и ужинали. Ужинали не в клубе, где нас знали и где Ричард пользовался популярностью, поэтому я не могла бы властвовать над ним безраздельно, и не в единственном в городе отеле, где один бар предназначался для высокопоставленных чиновников и другой — для простых смертных и где посетители глазели на вас, в какой бы из этих баров вы ни зашли, а в

ресторанах и закусочных, которые мы отыскивали на узеньких улочках, где не могли проехать автомобили и где, следовательно, нам никогда не попадались знакомые.

Шатаясь по этим улочкам и переулкам, я вспоминала детство. Сколько счастливых часов проводили мы тогда вдали от посторонних глаз! В те времена для нас не существовало еще твердых правил поведения, перед нами не висели запрещающие знаки: «это не принято», в бесхитростном уме ребенка слова «жилые кварталы» и «нежилые кварталы» звучали одинаково — и в те и в другие мы спокойно вторгались, если находили это интересным.

А Ричард? Обычаи, которым подчинялись его соотечественники, были не менее строги, чем те, которым подчинялись мои. Он был представителем расы, завоевавшей империю, к которой в самой метрополии относились безразлично, а за пределами этой метрополии не проявляли никакого интереса и даже охотно признавались в невежестве, как бы подчеркивая свое превосходство. Словно в знании чужого языка, культуры, искусства и литературы. было для них что-то постыдное. Они даже презирали тех, кто нет-нет да и выскажет мнение о том, что в конце концов

это не так уж плохо — понимать другой народ.

Однако мой родной город не отличался такой пестротой, как этот: здесь мы натыкались на целые кварталы, заселенные китайцами, арабами, армянами или турками, причем каждый квартал имел свой особый аромат, свой запах, свои национальные кушанья, которые казались мне столь же необычными, как и Ричарду.

Однажды, сидя в китайском ресторане, где мне все очень нравилось: кушанья, зеленый чай и хрупкие чайники с малюсенькими крышечками, в которых его подавали, — я сказала Ричарду:

— Если бы не ты. я никогда бы сюда не попала. И даже не знала бы, как много потеряла.

Он спокойно посмотрел на меня и спросил:

— Почему? Ничто тебе не мешало…

— Ты не понимаешь, — начала было я, собираясь углубиться в объяснение условностей. Но мне вдруг пришло в голову, что эти условности потеряли значение. Я почувствовала, что не смогу объяснить, как эти бумажные цепи могли помешать мне. И тогда я сказала: — Одной было бы не так весело.

Он засмеялся и ответил, что согласен со мной.

Мы просидели так долго, что наш зеленый чай дал осадок и стал похож на обычный чай, кото-

рый мы пьем каждый день. Появился хозяин, заправил керосином лампы, стоявшие в нишах стен, зажег их, поставил нам на столик свечи, глиняное блюдо с тлеющими угольками, от которых исходил тяжелый сладковатый запах, и подал Ричарду трубку.

— Опиум из Бенареса, — сказал он, искусно замешивая курево и набивая им трубку. — Высший сорт.

Я не могла решить, говорит ли он правду или просто хочет мне угодить, но запах был действительно очень приятен.

Когда мы собрались наконец уходить, хозяин проводил нас до двери, раздвинул расшитую бисером портьеру и, улыбаясь во весь рот, сказал, что надеется увидеть нас опять. Но мы больше не были у него, потому что так и не нашли тот переулок.

Однажды мы пошли в брахманский ресторанчик. Ричард снял ботинки и сел на полу, как делают все посетители, точно привык к этому с детства. Повар был настолько польщен, его похвалами, что подходил к нам каждые несколько минут, подавая все новые и новые деликатесы… Чувство гордости переполнило мою душу, и я подумала: таких, как Ричард, не найти, нет на

свете человека, который сравнился бы с моим возлюбленным.

Если у нас было время, — а его требовалось много, ибо спектакли в Индии обычно длятся до полуночи, — мы шли в театр. Купив билеты на самые лучшие места, мы садились в плетеные кресла, поставленные прямо перед сценой, чуть ли не вместе с музыкантами, а актеры, из уважения к Ричарду, вставляли в диалог английские слова… Но тот, в сущности, не нуждался в такой помощи: многие сказания из «Махабхараты» ему были знакомы, и он сам мог следить за действием пьесы.

— Таких англичан, как ты, я еще не встречала, — восхищенно сказала я ему однажды.

— Ты же никого из англичан больше не знаешь, — возразил он. Это убыл а правда: у меня было очень мало знакомых англичан. И все же я не верила, что с ним кто-то может сравниться.

— Ты должна побывать в Англии, — продолжал Ричард. — Чудесная страна!

— Так же хороша, как Индия?

— Англия — моя родина, — ласково сказал он и, помолчав, добавил: — Приятная страна… она тебе понравится.

— Я там заблужусь.

— Это почему же? Разве я тут заблудился хоть раз?

— Ты здесь со мной.

— А там — я буду с тобой.

Разумеется, мы бывали и на званых вечерах. До этого я и одна их посещала, если не могла уклониться, но, хотя не испытывала прежней неловкости, удовольствия от этих вечеров я не получала. А вот теперь они мне стали нравиться. Общество Ричарда само по себе было приятно; к тому же он умел себя вести, знал, что говорить, и был моим спутником; вполне понятно, что я чувствовала себя свободно и непринужденно. Если я даже и совершала какую-нибудь оплошность, он не упрекал меня; а когда твой друг не упрекает тебя, то и оплошности кажутся не такими уж серьезными и в конце концов теряют в твоих глазах значение. Кстати, они и в самом деле не имеют никакого значения.

И все же лучшим днем было воскресенье, потому что оно целиком принадлежало нам. По воскресеньям редакция не работала, если не случалось чего-нибудь экстраординарного. Даже от адъютантов не требовали, чтобы они дежурили каждое воскресенье. Мы садились в машину и уезжали куда-нибудь за город. Проголодавшись,

ели в первой же попавшейся деревне, а поздно вечером мчались обратно по ослепительно сверкающей в свете фар дороге, в то время как сзади нас догоняла и обволакивала полуночная тьма.

— Хочу, чтобы так было всю жизнь, — сказала я ему однажды вечером, привалившись к нему в сладостной полудремоте.

— Правда, милая?

— Правда, — уверенно подтвердила я.

— Тебе это наскучило бы.

— Наскучило бы? — изумленно переспросила я. — Никогда! С тобой я могу не бояться этого.

Сказав это, я сразу почувствовала в нем перемену: тело его вдруг напряглось, руки крепко меня сжали, тихое, мирное настроение исчезло, растворилось в ослепляющей трепетной страсти; я вся запылала, но он вдруг разнял руки. Задыхаясь от волнения, я продолжала прижиматься к нему.

— Ты забываешь, что я уже не в доме мамы!

— Я ничего не забываю, — возразил он, целуя меня плотно сжатыми, холодными губами. Он отстранил меня и убрал упавшие мне на лоб волосы. — Ни этого, ни всего остального… Мы скоро должны поехать к твоей маме.

— Зачем? — недовольно, с обидой спросила я. — В этом нет надобности.

— Таков обычай. Когда хотят пожениться…

— Для тебя этот обычай так важен?

— Нет, для тебя. А я могу не считаться с обычаями. У меня здесь нет корней, я один.

— Тебя связывает служба, — сказала я. — Ты мне сам об этом говорил.

— Я научился не принимать ее всерьез. Как, собственно, и должно быть.

— Если мы поедем, — сказала я, — обещай, что не примиришься с отказом. Обещай.

— Не могу, милая. Как же я могу?

— Ну, тогда… — Я была очень расстроена. — Обещай хотя бы не давать никаких обещаний, которых может потребовать от тебя мама.

— Я не совершу никаких опрометчивых поступков, — сказал он-со слабой улыбкой. — И не стану обещать невозможного.

В конце года — раньше Ричарду не дали отпуск — мы отправились ко мне домой. Мама ответила отказом. Если бы она стала нам объяснять, что теперь, мол, трудное время и неизвестно, что ждет нас в будущем, ведь мы принадлежим к разным расам, у нас с Ричардом не любовь, а безрассудное увлечение, — если бы она стала объяснять, то мы смогли бы разбить, один за другим, все ее доводы. Но она ничего не стала объяснять, а сказала про-

сто, что я слишком молода.

— Однако мне не было еще и семнадцати, когда заговорили о моем замужестве, — обиженно сказала я.

— Так это же Додамма начала эти разговоры, — спокойно возразила она. Разве ты не помнишь?

Это была правда. Мама улыбнулась:

— Подожди, когда тебе исполнится двадцать один. Не так уж много осталось. Или ты думаешь, это время никогда не придет.

— Конечно, придет, — ответила я со слезами на глазах. — Но будет ли Ричард еще здесь, когда мне исполнится двадцать один? А если его уже не будет? Что, если ему придется уехать? Сейчас не мирное время, чтобы можно было ждать и ждать и быть уверенной, что мы всегда будем вместе.

Этими словами было выражено все: неопределенность, бессилие, страх, отчаяние, которые все это время таились в моей душе. Как ни старалась я держать их взаперти, не давать им воли, иногда они все же вырывались наружу бурным темным потоком.

— Если ему придется уезжать, — сказала мама, — я не буду стоять у вас на пути.

Когда мы уходили, она спросила Ричарда:

— Вы считаете, что я не права? Может быть,

это так и есть… Может быть, я требую слишком многого?

— Нет, — отозвался Ричард, — вы требуете не слишком многого.

— В таких делах нужна осторожность, — сказала она.

— Да.

— Большая осторожность, — повторила она, не сводя с него глаз, и мягко добавила: — Разумеется, я права… Мне бы не хотелось оказаться неправой.

Так мы и уехали. Вскоре наступил Новый год — памятный тысяча девятьсот сорок второй. И едва он начался, как губернатор в сопровождении своих адъютантов спешно предпринял длительную поездку по мятежной стране.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Кит был не единственным, кому не нравились частые поездки Премалы в деревню и, в частности, ее встречи с миссионером Хики; Говинд, обычно расходившийся с ним во взглядах, на этот раз поддержал его. Но реакция Кита носила лишь поверхностный характер, им двигал скорее инстинкт, чем доводы разума. В его глазах миссионеры были просто фанатиками, принадлежащими к той категории людей, с которыми не принято сближаться и чьи странные убеждения и привычки невозможно постичь., Что же касается Говинда, то он питал иные чувства — более глубокие и более опасные. В его представлении миссионеры были не только людьми, борющимися с религией, которую исповедовал он сам (хотя и не выказывал особой набожности и даже во многом осуждал суровый аскетизм), а белыми людьми, которые мало того, что насаждают в стране чужие ненавистные порядки, но и во имя сохранения этих порядков неизменно поддерживают тех белых, кто правит страной и с кем у них почти нет других точек соприкосновения.

Не знаю, говорил ли он что-нибудь Премале, но однажды вечером, когда Кит был в клубе, а Премала еще не вернулась из деревни, его вдруг прорвало, и он сказал мне так, будто слова эти давно вертелись у него на языке:

— Зачем она туда ездит? Даже думать об этом неприятно.

— Ездит потому, что... — начала было я и замолчала.

— Потому что чувствует себя здесь ненужной, — закончил он за меня. — Почему ты боишься правды? Почему не выскажешься откровенно?

Но как я могла это сделать? При чем тут правда, когда есть вещи, о которых нельзя говорить? Если бы Говинд не захватил меня врасплох, я никогда не сказала бы той фразы, которую он за меня закончил.

Наступило молчание. Потом Говинд сказал.

— Пусть даже так... И все-таки я не понимаю, чем он так ее привлек... Неужели она не видит, что он за человек?

Что он за человек? Человек, который трудится среди чужих людей в чужой стране, во имя благой, как ему кажется, цели, трудится за вознаграждение, которому большинство людей не позавидует, более того — такое вознаграждение

они сочтут жалким и смехотворным.

— Не думаю, что она ездит туда только для того, чтобы с ним увидеться, — сказала я наконец. — Это… мирная деревня, там есть чем заняться и куда пойти, кроме. школы.

Он быстро взглянул на меня.

— Ты прекрасно знаешь, что, кроме школы, она нигде не бывает. Ни в клинике, ни на молочной фабрике, ни в каком другом месте. С индийцами она не встречается.

После этой нашей беседы Говинд, очевидно, разговаривал с Премалой. Об этом я догадалась, когда она, слегка запинаясь, спросила меня:

— Ты… Ты считаешь, это нехорошо с моей стороны — ездить в деревню?

— Почему нехорошо? — осторожно сказала я. — Что навело тебя на эту мысль?

Она долго молчала, и я было подумала, что она ничего не ответит. Но она тихо произнесла:

— Говинд не одобряет моих поездок. Он не советует… так часто уезжать из дому. Не понимаю, какой может быть вред от моих поездок.

Видно было, что она расстроена и утомлена, в голосе ее чувствовалась усталость человека, который всегда ошибается, что бы он ни делал, хотя и не понимает, в чем состоит его ошибка.

— Будет тебе, — поспешно сказала я. — Ты же знаешь, какой тяжелый характер у нашего Говинда. Может быть, он просто скучает по тебе… Он много раз приходил к тебе, хотел повидаться, а тебя все не было дома.

Она взглянула на меня и тихо ответила:

— Возможно, причина и в этом.

В этом ли была причина? Ну, а если бы Премала оставалась дома и встречалась с Говиндом — помогло бы эго изменить ход событий и предотвратить несчастья? Или результат был бы еще более печальным? Прошло много лет с тех пор, а этот вопрос так и остался без ответа. Одно ясно: если бы мы тогда были поставлены перед выбором, то вряд ли нашли бы в себе силы выбирать. Впрочем, говорить об этом излишне, потому что выбора-то у нас и не было.

Я не видела Говинда несколько недель, и хотя привыкла к его внезапным исчезновениям, все же не могла не беспокоиться, потому что о нем ходили тревожные слухи. Правда, слухи распространялись и раньше — почти сразу же после его ухода из дома; но на этот раз они стали особенно определенными и настойчивыми, так что игнорировать их было уже нельзя, даже если бы я и захотела. Разумеется, я поехала бы к нему,

но Говинд был непохож на других, у него не было ни жены, ни постоянного места жительства. Он быстро появлялся и исчезал, и я не знала, где его искать.

Из рассказов людей и из сообщений газет (сам Говинд и организация, к которой он принадлежал, стали настолько известны, что их уже не могли оставлять без внимания) я узнавала о его появлении в каком-нибудь городе или деревне и о том, что его преследует полиция. И действительно, как раз в это время в стране начались волнения и восстания; я читала об этих событиях, знала имена участников, но Говинд был моим братом, поэтому я находилась под впечатлением, будто худшие беды обрушиваются именно на его голову.

Когда его арестовали за подстрекательство к насилию, это никого особенно не удивило. Люди лишь гадали о том, на какой срок его осудят. Однако ему каким-то образом удалось добиться оправдания.

Потом он снова приехал в наш город. Я не знала о его возвращении до тех пор, пока редактор не сообщил мне о поджоге редакции «Газетт».

— Блэнделлу удалось бежать, — равнодушно объявил он. Я вспомнила, что наш редактор про-

работал двадцать лет у Блэнделла. — Ему еще повезло, — продолжал редактор. — Толпа просто неистовствовала. — Помолчав немного, он вдруг торжествующе воскликнул: — Теперь ему уж не оправиться, нет! Слишком стар. Разорен. Это конец!

Я смотрела на него широко открытыми глазами, полагая, что ослышалась, не веря, что этот добрый человек способен на такую жестокость. Потом, отвернувшись, я подумала: все, кого я знаю, меняются; кажется, будто воздух отравлен вредоносными миазмами, даже те, кого я как будто хорошо понимала, уходят в какой-то чужой, враждебный и недоступный для меня мир, в царство насилия, и когда поворачиваются ко мне лицом, то я их уже не узнаю.

— Говинд зашел слишком далеко. — Редактор опять заговорил спокойно, теперь я узнала его голос. — Думаю, на этот раз ему не открутиться.

Ему не открутиться. Его посадят в тюрьму. Тюрьма — это место, куда даже солнечному свету не проникнуть без разрешения: Каменный пол, серые, суживающиеся кверху стены. Дверь без ручки. Начальник тюрьмы: «Я не люблю, когда сюда попадают молодые люди, это им не на пользу». Но тюремный режим у Говинда будет

не таким, как у Рошан. Его обвинят в поджоге и насилии, и приговор будет суровым.

— Вы уверены, что это Говинд? — спросила я, цепляясь за последнюю слабую надежду, как это бывает с людьми в припадке отчаяния.

— Да, совершенно уверен, — ответил он, бросив на меня сочувственный взгляд.

Мы стали ждать. Недели, как тяжелые повозки, тянулись медленной чередой. Кит — угрюмый, непривычно притихший — объявил, что не испытывает желания разговаривать на эту тему; Премала, никогда и ни в чем не перечившая мужу, тоже молчала. Так мы и жили, каждый в своей наглухо запертой камере, и вели себя так, словно Говинд не имеет и никогда не имел к нам никакого отношения, словно он вообще не существует на свете. Мучительное противоестественное притворство не позволило воцариться атмосфере мира и спокойствия, которая могла бы существовать в иное время. Именно в эту трудную минуту, когда мы более всего нуждались друг в друге, мы едва могли избежать ссор, и если все же избегали, то ценой изнурительных усилий.

Когда началось, наконец, слушание дела, это даже вызвало чувство облегчения. Это чувство, однако, скоро исчезло из-за нараставшего с каж-

дым днем напряжения. И тем не менее жизнь продолжалась с той благословенной и вместе с тем ненавистной неумолимостью, которая предотвращает распад. Мы ездили на работу, возвращались домой, слушали новости, ложились спать, читали утренние газеты и ждали; ждали, пока правосудие, равнодушное к чему-либо менее важному, чем оно само, шло своим медленным, тяжелым ходом.

О том, чем кончилось дело, мне рассказал Кит. Он был в суде и позвонил мне, как только был оглашен приговор.

— Говинда оправдали, — объявил он. — Повезло ему.

Все были настолько уверены, что его осудят, меня так долго не покидала мысль о тюрьме и тюремном заключении, что сначала я даже не поняла. Кит заметил мое недоумение.

— У него был отличный адвокат. Рошан нанял. — Брат помолчал, потом добавил: Она выступила свидетельницей от защиты… показала под присягой, что ту ночь он провел с ней… Ловко они это обставили… Адвокат умело обыграл тот факт, что она женщина замужняя, поэтому-де не сразу решилась признаться…

— Но ведь это же неправда! — воскликнула

я. — Между ними ничего не было. Решительно ничего.

Он не ответил. Я подумала, что нас разъединили, хотя щелчка не было слышно, и судорожно задергала рычаг телефона. Голос Кита зазвучал снова, но, казалось, откуда-то издалека.

— Это ты лучше скажи Рошан. Или Говинду. — Даже по телефону голос Кита звучал резко.

На следующий день после того, как Говинда оправдали, Рошан попросила меня пожить у нее несколько недель. Говинд должен был жить у нее в доме, а ей требовалась компаньонка.

— Вряд ли это имеет теперь какое-нибудь значение, — сказала я. — Ты ведь показала под присягой, что он провел ночь с тобой.

— Думаешь, я о себе забочусь? — рассмеялась Рошан. — Это все Говинд придумал. Он боится уронить свой авторитет в партии. В нашей стране моральные соображения преобладают над всеми другими. Наши люди знают, что я поступила так в интересах дела, но если Говинд и впрямь будет жить у меня, то пойдут сплетни. Поэтому мне и нужна компаньонка. А Говинду нужно какое-нибудь удобное прибежище. После всех этих передряг он неважно себя чувствует.

Я никогда не слышала, чтобы она говорила так

серьезно.

— Но он мог бы поселиться у нас, — начала было я, но тут же вспомнила, что нет, не может. Кит — окружной судья, коллектор[14], чиновник государственной службы, винтик правительственной машины; он должен помогать государственным институтам, а не разрушать их, как это пытается делать Говинд.

Теперь, когда опасность тюремного заключения миновала и Говинд поселился в доме Рошан, я с радостью, хотя и не без некоторых опасений, сказала себе: он получил хороший урок и впредь будет осторожней.

— До чего же ты простодушна! — как-то сказала мне Рошан. Она сидела на столе и, болтая ногами, беззаботно улыбалась. — Говинд всей душой предан нашему делу. Он ему ни за что не изменит. Не понимаю, почему ты продолжаешь желать ему того, чего он сам не желает.

— Потому что не хочу, чтобы юн попал в тюрьму.

— Это не так страшно, — повторила она уже сказанные ею когда-то слова. — Ты как всегда воображаешь то, чего нет. Конечно, в тюрьме

---

[14] Примечания: 14

Коллектор — должностное лицо, совмещающее функции главного судьи и главного налогового инспектора.

приходится терпеть всякие неудобства, но там нет ничего такого, что внушает страх.

Я не могла заставить себя поверить ей, и все же ее слова подействовали на меня ободряюще: я знала, что она и сама скоро окажется в тюрьме; ибо вместе с Говиндом занимается антиправительственной деятельностью. Я плохо представляла себе масштаб этой деятельности, пока не стала у нее жить. Ее еженедельные статьи и раньше-то не отличались сдержанностью, но теперь были просто напоены ядом — некоторые из них писал Говинд.

Редактор, видимо, получил нагоняй. Один раз он уже предостерегал Рошан, теперь он предостерег ее вторично. Но Рошан не теряла спокойствия и, как всегда, была весела и бесстрашна. Она решила (и, в отличие от многих других, не изменила своего решения) бойкотировать английские товары, бросила курить и перестала пользоваться губной помадой, пока не встретила в один радостный для себя день американского офицера, который стал снабжать ее продукцией американских фирм. Потом вместе с другими женщинами она собрала все свои жоржетовые и шифоновые сари английского производства и сожгла их на площади. С тех пор, не без некоторого отвраще-

ния, Рошан носила грубые домотканые одежды.

Лишь от одного она не захотела отказаться, несмотря на все настояния Говинда: от своих английских друзей. Как правителей, господ, она их отвергала, считая невыносимыми; но как людей, неизменно считала приятными, человечными, воспитанными, очаровательными. Всякий раз, высказывая это мнение, она поворачивалась ко мне, и ее веселые, смеющиеся глаза спрашивали: разве я с ней не согласна? Сердце бешено колотилось у меня в груди, к щекам приливала горячая кровь, и я отвечала: да, согласна. А Говинд с суровым осуждением отводил глаза.

Как ни странно, англичане принимали Рошан такой, какой она была, — вместе с ее домотканой одеждой, национализмом и всем прочим; она пользовалась среди них прежней популярностью. Ее энергия и жизнерадостность завоевывали все сердца, и таившаяся в ней притягательная сила, которой она даже сама не сознавала, помогала ей преодолевать все барьеры, не только расовый и религиозный, но и самый высокий из них — политический.

Начиналось лето: весь день с утра до вечера дули жаркие порывистые ветры, которые лишают людей сил и вызывают у них апатию. Почва

становилась все суше: на ее бурой поверхности уже образовался первый тонкий сетчатый узор, который позже превратится в широкие зияющие трещины. Над тротуарами и дорогами с полудня до четырех-пяти часов висело мерцающее марево, и пока оно не рассеивалось, пока не остывали каменные плиты, по улицам нельзя было пройти без ботинок или сандалий.

Ухоженные зеленые лужайки в жилой части города местами порыжели, а цветы начали чахнуть, несмотря на все старания садовников спасти их. Время трудное и мучительное. Испытываешь раздражение, как перед приступом лихорадки, и поведение других кажется тебе более неразумным и вызывающим, чем когда-либо.

Как раз в это время вдруг запретили газету Рошан.

Разумеется, это не было неожиданностью, мы все знали, что это случится, мы говорили себе и друг другу, что это лишь вопрос времени. Но нам так часто угрожали, гром гремел уже так долго, что мы привыкли к нему и были неприятно поражены случившимся.

— Я же предупреждал вас, — сказал главный редактор. — И не один раз.

— Миллион раз, — с досадой отозвалась Ро-

шан. — Лучше скажите, что нам предпринять сейчас?

Редактор не ответил. Опустив глаза, он рассматривал свои ногти; все остальные, кто был в комнате, тоже молчали. Чувствовались всеобщая тревога, озабоченность, страх за семью, «за завтрашний день, страх, который превращает людей в трусов, и вместе с тем угадывались гнев и возмущение.

— Что же нам делать? — снова спросила Рошан.

Редактор с заметным усилием выпрямился на стуле и уклончиво ответил:

— Сейчас время военное, а это значит, что нельзя рассчитывать на снисходительность. Или даже на справедливость. И чем скорее мы это поймем, тем лучше.

— Иными словами? — Голос Рошан звучал спокойно, слишком спокойно. Таким тоном разговаривают люди воспитанные, когда хотят прикрыть свое волнение.

— Ничего не надо делать, — сказал он. — Только послать письмо с извинениями и держаться потише, если вы не хотите, чтобы газету закрыли навсегда.

Рошан вспыхнула. Она знала, — и мы это

видели, — что сотрудники настроены против нее. Когда-то она считалась с мнением других, укрощая, хотя и с трудом, свою горячность, но в последнее время все чаще действовала по собственному усмотрению. А как теперь?

Мы ждали, но ответом было молчание, которое нависло над нами, угрожая всякому, кто вздумал бы заговорить первым. Жаркий румянец сбежал с лица Рошан, побледнели даже ее руки — маленькие, с длинными белыми пальцами и овальными отполированными ногтями странно розового цвета, так непохожего на обычную темно-красную окраску. Но Рошан смотрела не на свои руки; ома медленно обводила нас взглядом. Потом сдержанно сказала:

— Конечно, если вы готовы примириться, если не хотите даже протестовать, то нам не о чем больше говорить.

Рошан снова посмотрела на нас; да, говорить действительно больше не о чем. Она встала и быстро вышла из комнаты. У каждого из нас во рту был тот горьковатый привкус, который бывает, когда чувствуешь за собой какую-нибудь вину, а мы, несомненно, были повинны в измене.

Трудно было ожидать, чтобы Рошан не попыталась восполнить тем-Нибудь свою вынужденную

бездеятельность. Такая возможность представилась ей на следующей же неделе. По той или иной причине (никто точно не знал, по какой именно, ибо в те дни мало кто мог уследить за извилистым ходом мысли правительства) в некоторых районах было введено осадное положение, в частности, действовал приказ, запрещавший демонстрации и сборища, состоящие более чем из пяти человек. Ярая поборница свободы, Рошан решила открыто нарушить этот приказ, она организовала митинг, а потом возглавила демонстрацию. Ее арестовали и через некоторое время (разумеется, без излишних проволочек) снова отправили в тюрьму.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В июне Ричард вернулся, оставив губернатора со всей его свитой. Его посыльный, высокий невозмутимый северянин, ждал меня с запиской в руке. Когда я развернула ее и стала читать, он вежливо отвернулся. Записка, написанная торопливым почерком, состояла всего из трех строк:

«Милая!

Где ты пропадаешь? Я разыскиваю тебя с утра. Приезжай, как только получишь эту записку. Даже если будет поздно, все равно приезжай.

Ричард».

Было около семи вечера. Весь этот день я провела за городом— не было никакого желания оставаться в охваченном волнениями городе, тем более что редакция наша, по существу, была закрыта — там обычно сидел только один дежурный. Свободного времени в моем распоряжении было больше, чем достаточно. Но теперь я пожалела, что уезжала. Я перевернула листок и на чистой стороне написала: «Жди». Затем вернула записку посыльному и побежала наверх пере-

одеваться.

Рошан, в чьем обществе я должна была находиться как компаньонка, конечно, не было дома. Переодевшись и спустившись вниз, я предупредила слуг, что к ужину не приеду. Потом с чувством некоторой неловкости пошла искать Говинда.

— Вернулся Ричард, — сообщила я. — Еду к нему. Очевидно, вернусь домой поздно.

Он кивнул:

— Знаю. Когда он звонил, я был дома.

— Я не предполагала, что он вернется сегодня, иначе не уезжала бы.

Разговор не клеился. В присутствии Говинда, зная, что он не одобряет моих отношений с Ричардом, я всегда испытывала чувство вины, и хотя я понимала, что дело тут не в личной неприязни, а в принципе, что свое отношение к англичанам он беспристрастно распространяет на Ричарда, от этого мне не было легче.

— Не сомневаюсь, — сухо заметил он и, когда я собралась уходить, неожиданно добавил: — Ты сегодня чудесно выглядишь.

Я удивленно посмотрела на него. Говинд был не из тех, кто любит делать комплименты. Обычно он даже не замечал, как я выгляжу, а если и за-

мечал, то никогда не находил нужным говорить. Лицо его было серьезно, почти сурово.

— Ты давно уж так не выглядела, — сказал он. — Эта встреча… очень важна для тебя?

— Да, — честно призналась я.

— Знаю. Мог бы и не спрашивать. Когда-то я надеялся, что это пройдет… но ты так никого больше и не встретила. Верно?

Это был не столько вопрос, сколько утверждение, но я все же сказала:

— Верно. Так никого больше и не встретила.

— И не встретишь. — Говинд говорил как бы про себя. — Смешно, правда? Видишь, что ты связан по рукам и ногам, и ничего не можешь поделать. — Помолчав, он вдруг резко добавил: — А я не верил. Думал, все пройдет. Молился, чтобы все прошло. Но не проходит, нет, не проходит.

Лицо его было влажно от пота. Я взяла его руки в свои и почувствовала, что они дрожат. Я стала гладить их, и дрожь постепенно утихла.

— Тебе надо ехать, уже поздно. — Он высвободил свои руки и улыбнулся. — Ты терпелива, как старуха, не каждый может так долго выносить мой характер.

— О, это было нетрудно, — возразила я. Я не кривила душой: Говинд с его суровым нравом

редко бывал доступен для кого-либо; такие минуты, как эта, выпадали не часто, особенно в последнее время, поэтому только глупец не сумел бы их оценить.

Когда я вышла и направилась к машине, то услышала в доме бой часов — по обыкновению, они били нестройно, Рошан нравилось, что они бьют именно так, ее почему-то забавляло, что люди никак не могут определить время по количеству ударов.

Машина, принадлежавшая Рошан, была приземистая, безобразная, далеко уже не новая. Когда-то Рошан любила свою машину, но потом, разочаровавшись в ней, отдала мне напрокат. Машина была небольшая, быстроходная, временами она грохотала, как танк, но мне нравилась своей безотказностью. Выносливая, словно ослик, она выдерживала любое, даже самое варварское, обращение.

Ночь была темная, безлунная, низкие тучи скрывали от глаз почти все звезды. Сидя в машине, я думала о Ричарде: ждет ли он еще меня? Он и так прождал весь день. В семь часов я сообщила ему, что еду, но сейчас уже девять, а меня все нет. Скорее всего, подумала я, он, уехал в бар или в ресторан. Я попробовала урезонить себя:

ну, пусть уехал — ведь завтра я все равно его увижу. Но эта мысль не утешила меня, наоборот, причинила мне сильную боль, и я поспешно сказала себе: нет, он ждет меня. И он действительно ждал.

Ричард сидел на задней веранде — я знала, что найду его именно там, где вечерами, когда дул ветер, бывало прохладнее. Он сидел в своей излюбленной неудобной позе, упершись локтями в колени и подперев подбородок ладонями, и читал книгу.

Свет маленькой настольной лампы, стоявшей рядом, падал на его волосы, отливавшие бронзой и золотом на висках, на его белый затылок и обнаженные до локтей руки, потемневшие от индийского солнца.

Он не слышал, как я вошла, и продолжал читать. Несколько мгновений я наблюдала за ним. Таким, да и не только таким, я не раз представляла его себе. Пока его не было, едва ли проходил хоть час, чтоб я не думала о нем, не рисовала себе его образ, — вот что значит любовь. Но сейчас, видя его воочию, я чувствовала себя совсем, совсем иначе. Я с трудом проглотила подступивший к горлу комок, но даже и этого слабого звука было достаточно, чтоб заставить его встрепенуться. Он

быстро поднялся со стула и подошел ко мне.

— Мира, милая. Как долго мы не виделись!

Я кивнула, испытывая успокоение и радость в его объятиях, но слезы, душившие меня, не давали мне говорить. Вот они брызнули из глаз и потекли по щекам— неудержимые, непрошеные, мучительные женские слезы. Он сжал меня еще крепче, видимо понимая, что счастье иногда способно с такой силой сдавить человеку горло, что ему не остается ничего другого, кроме как ждать.

— Как я рада тебя видеть, — проговорила я наконец. — Хорошо, что ты вернулся.

— Я вернулся только из-за малярии.

Малярия… Если ты родилась и живешь в Индии, то не можешь не знать об этой болезни. Но тебя она обычно обходит стороной, от нее всегда страдает кто-то другой— крестьяне или англичане… И тут я вдруг услышала слабое неумолкающее жужжание, похожее на шум электромотора, работающего на малых оборотах. Звук этот, при всей его навязчивости, был еле слышен. Москитов не было видно нигде, кроме как под шелковым абажуром. О своем присутствии они почти не напоминали.

— Тебе не следовало бы тут сидеть, — посоветовала я. — Да еще с засученными рукавами.

Он улыбнулся:

— Они теперь держатся от меня подальше. Кровь слишком горькая.

— Хинин?

— Акрихин. Меня так им напичкали, что я почти весь желтый.

— Тебе нужен покой, — сказала я. — Удивляюсь, как это врач отпустил тебя домой.

— А он не отпустил. Я сам пришел, хотел повидаться с тобой перед отъездом.

Я молчала. Недавняя радость обернулась горьким разочарованием. Он сказал:

— Я хотел приехать еще раньше, когда узнал про газету Рошан, но не было возможности. Ты очень расстроилась?

Расстроилась? Конечно, я была сильно огорчена, А потом, когда я пришла в себя?

— Я как-то не думала об этом, — ответила я наконец. — Наверно, расстроилась… Человек привыкает к газете, в которой работает… Безмолвие… обескураживает.

Безмолвие. Да, именно, это — самое худшее. Приходить в редакцию и не слышать ни голосов, ни стука машинки, ни телефонных звонков, ни позвякивания чашек; приходить в редакцию и вместо привычного шума и суматохи погру-

жаться в эту неестественную тишину; с таким чувством ждешь, что прервавшаяся было демонстрация фильма снова возобновится, что кто-то опустит монету, и проигрыватель заиграет снова, но в конце концов убеждаешься, что ожидание напрасно. Я мечтала о встрече с Ричардом, надеялась, что он заполнит эту звенящую тишину смехом, вознаградит меня за месяцы одиночества своей любовью. И что же? Вот он — здесь.

— Когда ты уезжаешь? — спросила я.

— Завтра или послезавтра.

— Надолго?

— На шесть недель.

— Куда?

— Не знаю. Еще не решил.

Я с удивлением спросила:

— Разве ты можешь выбирать, куда ехать?

— Да, конечно. Ты думаешь, я только подчиняюсь чужим распоряжениям?

— А разве нет?

— В этом случае нет. Отпуск, предоставляемый для лечения, — это не командировка и не поездка с его превосходительством.

Повеял ночной ветерок. Я слышала, как он крадется во тьме — легкий и слабый, — словно вздох ребенка. Капельки пота, выступившие у

меня на висках, просыхали, оставляя ощущение прохлады.

Я сидела на подушке, у ног Ричарда, прислонясь головой к его коленям, и смотрела в темноту, за светлый круг, который отбрасывала настольная лампа.

— Возьми меня с собой, — внезапно попросила я.

— Не могу, милая.

— Почему?

— Должен же я и о тебе подумать.

— Я сама о себе подумаю.

— Если б ты не была так молода…

— Двадцать лет — немало. А в военное время — почти старость.

— Я так тебя люблю. Если ты потом будешь жалеть…

— Почему я должна жалеть?

— У тебя… другое воспитание. Я жил у вас, знаю твою семью. Ты не похожа на других женщин.

— Я точно такая же, как все, — возразила я, стараясь говорить спокойно. — Те же чувства, те же ощущения. Ты думаешь, воспитание влияет на наши чувства?

— А ты в них уверена? — спросил он. — Совершенно уверена?

Я обернулась и с жаром ответила:

— Конечно, уверена, давно уверена. Ни на кого другого я даже не взглянула, и никого другого у меня не было с тех пор, как я тебя встретила. Это даже Говинд знает — он мне сам говорил!

Я хотела ему сказать еще многое. Мысли рвались из самых глубин сознания, под их властным напором растерянный ум с трудом подсказывал нужные слова. И пока я собиралась еще что-то сказать, Ричард нагнулся, подхватил меня на руки и нежно сказал:

— Хорошо, милая. Поедем, куда ты пожелаешь. И сделаем все так, как ты захочешь.

— Лишь бы не ссориться?

— Нет, — ответил он. — Конечно, не поэтому.

У Ричарда была огромная, подробная карта, выпущенная военным ведомством. Мы разложили ее на полу, придавили углы книгами и, опустившись на четвереньки, стали усердно изучать. Казалось, во всей Индии нет ни одного недоступного для нас уголка (теоретически так оно и было).

— Кашмир, — предложила я. — Мне давно уже хотелось там побывать.

— А где жить будем? — спросил Ричард. — Лодку, которая служила бы нам плавучим домом,

мы заказать уже не успеем, гостиницы тоже переполнены.

— Можно поехать на какой-нибудь горный курорт. В Найни Тал или Симлу, например. Говорят, там недурно.

Сама я не очень туда рвалась, но думала, что горный климат будет полезен Ричарду. Он поморщился:

— Ты же знаешь, в туристский сезон там ужасно плохо. В Кашмир лучше ехать попозже.

— Попозже! — воскликнула я, посмотрев на него с недоверием. — Попозже начнется дождливый сезон.

— Тем лучше, — сказал он и весело добавил — Ты ведь ни разу не жила в это время в горах, правда? Это же интересно.

Я действительно не бывала в то время в горах, ибо уезжала оттуда еще до начала сезона дождей. И теперь невольно подумала: «Может быть, стоит там пожить? Вот только где именно?»

Мы снова склонились над картой и, закрыв глаза, наугад воткнули в нее булавки. Потом Ричард принес путеводитель, и мы стали усердно перелистывать страницы. Но никак не могли остановить на чем-нибудь свой выбор.

— По-моему, лучше всего довериться случаю, —

предложил наконец Ричард. — Планы наводят только скуку. Поедем, куда влечет душа, — и пусть каждый день приносит что-нибудь новое.

Я смотрела на него во все глаза- мысль о поездке без точного плана с трудом укладывалась в моей голове, любому из членов моей семьи такая затея показалась бы если не опасной, то, во всяком случае, безрассудной.

В нашей семье увеселительные и другие, поездки, были неизбежно связаны с лихорадочными приготовлениями: заранее покупали билеты, проверяли и перепроверяли заказ на гостиницу, упаковывали вещи и отправляли их багажом, чтобы по прибытии не испытывать никаких неудобств, и лишь тогда, в окружении целой толпы слуг, надежно застраховавшись от неприятностей, отваживались тронуться с места.

С тех пор как я стала жить вдали от дома, многие из моих старых привычек упростились, однако не до такой степени, чтобы я с наивной доверчивостью следовала влечениям души; да и сама душа, долго находившаяся в апатии, вряд ли знала, чего хочет. Тем не менее я была заинтригована предложением Ричарда, и чем дольше я раздумывала, тем привлекательней оно казалось. Отбросить условности и шагать легко и

свободно— что может быть лучше? От одной этой мысли я почувствовала облегчение. Так, должно быть, чувствует себя солдат, который в конце дня освобождается от тяжести своего снаряжения. Я кивнула Ричарду и сказала: «Да, я думаю, так будет лучше всего».

Ричард с улыбкой посмотрел на меня.

— Это было очень трудно?

— Да, — призналась я.

— Так и думал. Но ты не пожалеешь. В какую сторону мы поедем: на юг или на север?

— Давай метнем жребий.

И получилось так, что мы с восхитительной легкостью решили поехать на юг.

Получить отпуск не составляло особого труда. Редактор уже говорил нам, что если мы хотим куда-то поехать, то сейчас самое удобное время. Когда газета начнет выходить, снова, работы будет больше обычного. Впрочем, только я одна и попросилась в отпуск. Все мы получали половинное жалованье, и сотрудники старались жить экономно. Почти все подобные вопросы Рошан, конечно, оставляла на усмотрение редактора, считая его более компетентным, чем себя; ее оценки всегда были объективны. Тем не менее я решила поговорить с ней, с трудом преодолев

свой страх перед тюрьмой. К моему облегчению (я говорю «к облегчению», хотя в действительности не ожидала ничего другого), я увидела ее, как всегда, веселой и бодрой.

— Конечно, поезжай, — посоветовала она. — Тебе полезно развеяться. Куда ты хочешь ехать?

— Куда душа влечет.

— В самом деле?

— В самом деле.

Она поднялась € деревянной скамьи, на которой мы обе сидели, и подошла к маленькому окошку, находившемуся высоко над Полом. Если встать на цыпочки, то можно было выглянуть наружу; правда, смотреть тал1 было почти не на что: круглый мощеный дворик, посреди — клочок голой земли, пощаженный ради чахлой кривой финиковой пальмы с наполовину вылезшими корнями. Стоя ко мне спиной, Рошан выглянула в окошко. Как обычно, на ней было домотканое сари — политическим заключенным нередко позволяли носить собственную одежду. Грубая толстая ткань топорщилась, создавая иллюзию полноты; и все же я видела, как Рошан похудела. Не потому, что жила в тюрьме. Рошан относилась к числу людей, которые меньше всего думают о материальных благах; они живут для души и

сыты духовной пищей. Так было всегда: она жила насыщенной духовной жизнью и, лишь временами, как бы нехотя, подсознательно обращала внимание на свою внешность.

Она сказала, не поворачиваясь:

— А ты переменилась. И очень сильно. Ты замечаешь это?

— Замечаю, — ответила я. — Но ведь переменилась не только я.

— Верно. — Наконец она обернулась ко мне. — И все же я удивлена. Никак не ожидала, что ты способна так перемениться.

— Все мы меняемся. Тут уж ничего не поделаешь.

— Ты не жалеешь?

— Нет. А ты?

Она засмеялась:

— Конечно, не жалею. Лучше уж отправиться к дьяволу, да по своей воле, чем на небеса, но по чужой указке. Я ни за что не откажусь от свободы… Правда, так было не всегда, даже у меня не всегда.

Я хорошо понимала, что она имеет в виду: даже в наглухо запертой тюремной камере, за высокой оградой, Рошан чувствовала себя свободной. Я угадывала это скорее каким-то внутренним чу-

тьем, чем разумом, и если кто-нибудь попросил бы меня объяснить, вряд ли смогла бы это сделать. Однако никому из представителей моего поколения и не требовалось никаких объяснений; тем же, кто к моему поколению не принадлежал, объяснять было бы бесполезно. Именно взаимное понимание, одинаковое восприятие действительности, хотя они и объединяют лишь некоторых людей, разделяют поколения непроходимой пропастью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В июне в большей части Индии стоит жара, невыносимая даже для ее уроженцев. Быстро поднявшись по небосклону, раскаленное добела светило повисает у вас прямо над головой и жжет, не давая никакой пощады, В эти часы люди ищут спасения под тростниковыми крышами хижин или в тени пальм; в бунгало, за обрызганными водой травяными шторами; под вентиляторами, в прохладных комнатах клуба; под яркими пестрыми, как экзотические цветы, зонтами, окружающими плавательные бассейны. Они пьют прозрачный охлажденный кокосовый сок, едят полные освежающей влаги арбузы или потягивают джин, разбавленный ледяным лимонным соком. Конечно, все они благоразумно прячутся от солнца.

Но не всегда можно быть благоразумным, да и нельзя проехать добрую тысячу миль по стране, находясь все время под укрытием.

Мы медленно ехали на юг по обсаженному бананами и тамариндами главному шоссе, соединяющему крупные города; иногда от этого шоссе

ответвлялись более узкие дороги, а от них — даже проселочные, которые вели в глубь страны. Когда же и эти дороги кончались, а это случалось часто, мы продолжали путь пешком, оставив машину где-нибудь у обочины дороги или на берегу реки. Там она стояла — застывшая, неподвижная. Странно было видеть ее в открытом поле, где попадаются только повозки, запряженные волами, да сохи.

С собой у нас почти ничего не было: ни термосов, ни пледов, только по смене одежды и один чемодан на двоих. Для меня было таким удовольствием не чувствовать никакого бремени. Мне даже чудилось, будто я отшельница, сбросившая с себя все наносное, светское, чтобы познать наконец высшую истину.

— Вот так я смогла бы прожить всю жизнь! — воскликнула я однажды в избытке чувств. — И знаю, что была бы совершенно счастлива.

Мы сидели на топчане под сенью хижины и грызли поджаренные кукурузные початки. Сначала хозяин дома смотрел на нас с подозрением, потом с любопытством, но в конце концов смилостивился и сам выбрал для нас лучшие початки на неубранном еще, шелестящем на ветру участке поля, а его жена поджарила их на огне.

Запах дыма и громкое приятное похрупывание придавали кукурузе какой-то особенный вкус.

Ричард сказал:

— Мне кажется, и я смог бы; сейчас я даже в этом уверен. Но видишь ли, человек не может на всю жизнь отгородиться от мира.

— Другие-то могут, — возразила я.

— Мы не такие, как они. И время теперь не такое.

Перед нами лежали окрашенные в теплые летние тона необъятные просторы земли: светло-желтое маисовое и рисовое жнивье; красно-бурая пашня; бледный пожухлый бурьян; густое золотистое поле сахарного тростника, с острыми, как сабли, стеблями, сочащимися сладким соком. Скоро краски станут другими: стерню перепашут, сахарный тростник срежут, землю засеют. Снова зазеленеют поля, золотой могур сбросит свои огненные лепестки. Вечно повторяющийся цикл; перемены происходят, лишь повинуясь установленному порядку. Природа живет своей жизнью, она не похожа на тот, другой мир — мир партий, фракций, тюрем, бунтов, мир конфликтов, не вызываемых необходимостью, и сложностей, не поддающихся пониманию, где каждый шаг делаешь с осторожностью и стараешься уловить

смысл недосказанного; мир, в котором замечаешь лишь перемены в характерах людей. Но их невозможно предсказать, невозможно предвидеть, они, эти перемены, происходят какими-то непонятными, таинственными путями, проявляясь иногда совершенно неожиданно.

Но такова наша жизнь, мы сами ее выбрали, родившись там, где родились, даже если этот выбор был предопределен судьбой. Мы создавали ее так же, как она создавала нас, и были неразделимы с нею. А эта, другая жизнь, такая короткая, служила лишь интермедией, которая неизбежно должна кончиться. И когда она кончилась, когда последняя песчинка упала в нижний сосуд песочных часов, перевернуть эти часы оказалось не так-то просто. Чтобы сохранить душевное равновесие, мы должны были вернуться в свой прежний, привычный мир; мы не могли не вернуться в него, потому что он был неотделим от нас так же, как неотделима земля от тех, кто на ней трудится. Мы не могли жить вне своего мира, подобно тому как птица не может жить вне неба, рыба вне моря и любое другое существо — вне своей родной стихии. Ричард сказал:

— У тебя озабоченный вид. Слишком озабоченный.

— Я думаю.

— Не надо. Мы ведь отдыхать едем. А размышлять у нас еще будет достаточно времени.

— Это у меня невольно получилось. Ты сам навел меня на размышления.

— Ну, это дело поправимое, — сказал он, привлекая меня к себе. — Пошли. Мы еще не осмотрели это чудесное место.

С Ричардом всегда доводилось много ходить пешком; только благодаря собственной решимости, а нередко и упрямству удавалось мне ограничивать эти прогулки.

На десятый день мы доехали до джунглей, которые начинаются у границы Майсора и уходят далеко в глубь его территории. Дальше мы решили идти пешком. Вообще-то через этот штат проходят неплохие автострады, но если вы никуда не спешите и хотите лишь приятно провести время, то вам лучше всего передвигаться, как местные жители — пешком или в повозке. И здесь мы с Ричардом, — впервые в моей жизни и, естественно, впервые в его жизни, продираясь сквозь густые заросли, совсем недалеко от кемпинга наткнулись на молодого тигра. Не будь он хромым, разумеется, он успел бы скрыться, но он ковылял так медленно, что мы смогли с близкого

расстояния рассмотреть его мощные плечи и горящие злобой глаза.

Управляющий кемпингом, похожий на Даса, пожилой мужчина с коричневым морщинистым лицом, страшно забеспокоился. За всю жизнь ему ни разу еще не случалось слышать, чтобы тигры так близко подходили к туристским коттеджам. На следующее же утро, еще до восхода солнца, он отрядит группу загонщиков, чтобы отпугнуть хищника; но даже и после этого нам не следует отваживаться выходить без надежной охраны. Он содрогнулся при одной мысли о том, что могло с нами случиться!

— Он удрал, как только заметил нас, — спокойно возразил Ричард. — Не думаю, что нам угрожала какая-нибудь опасность.

Но управляющий не успокаивался. Мы у него на попечении, и он должен достойно выполнить свою миссию. Верный своему слову, он приставил к нам двоих дюжих мужчин, вооруженных палками, которые неотступно следовали за нами. Теперь наш управляющий, казалось, был удовлетворен. Но нам так надоел этот эскорт, что на следующий же день мы решили уехать. Старик провожал нас с улыбкой, и у меня невольно возникло подозрение, что он испытывает облег-

чение, расставаясь с нами.

К концу второй недели мы не спеша, избегая утомительных переходов, добрались до самой южной точки Индии, где кончалась суша. До прихода англичан этот мыс называли Канья Кумари; затем его стали называть мыс Коморин, и это название сохранилось вплоть до их ухода. Но местные жители знали только старое название; впрочем, как вы называли этот мыс — зависело от того, в какой школе и когда вы учились.

Если вы посмотрите на карту, то увидите, что мыс Коморин похож на вершину острого треугольника. Шагая по прибрежному песку, вы чувствуете, что здесь, под ногами, у вас кончается континент. Не требуется много фантазии, чтобы представить себе географическую карту в увеличенном масштабе и увидеть на ней два берега, сходящиеся в одной точке и отлого спускающиеся в море — море, которое на востоке называется Бенгальским заливом, а на западе — Аравийским морем. И вам приходит в голову соблазнительная мысль о том, что вы можете выкупаться сразу в обоих морях.

На песке возвышается гостиница с великолепным видом на море. В это время года там почти никто не живет, но весь обслуживающий

персонал сохраняется. Никаких других жилищ поблизости не было, и мы решили остановиться в этой гостинице. Но меня тревожило то, что у нас всего лишь один чемодан и нет приличных костюмов, а Ричард жаловался на удручающее безлюдье, поэтому, пробыв в гостинице всего полдня, мы уехали, сопровождаемые изумленными взглядами слуг, не представлявших, где мы сможем найти себе пристанище.

На этот раз нам повезло: отойдя на несколько миль от гостиницы, с ее плавательным бассейном, с огороженным пляжем, защищенным от моря волнорезом и от акул — металлической сеткой, мы набрели на рыбацкие катамараны и лодки, стоявшие на суше, далеко от берега, и совершенно высохшие, точно на них давно уже никто не плавал. Здесь мы повернули в сторону и вскоре увидели небольшой рыбацкий поселок.

Староста общины — высокий, худой, почти черный от загара человек — естественно, смотрел на нас сначала с некоторой опаской; нет такого места на земле, где отклонение от обычного не отождествлялось бы с отклонением от нормального; все дело в том, что в сложном современном обществе, не имеющем ни времени, ни желания, ни способности отличить одно от другого,

люди находят способ заставить вас подчиниться принятым нормам, тогда как в более простом обществе, вас еще могут принимать таким, как вы есть, без всяких оговорок.

Но когда наш хозяин убедился, что мы не причиним ему никаких неприятностей, он сам настоял на том, чтобы мы поселились в его жилище. Думаю, он нуждался в деньгах: доходы рыбака достаточно^скудны и в рыболовный сезон, а когда лодки на приколе, жизнь тем более трудна. Ну, и кроме того, это был жест гостеприимства, которого мы от него и не ожидали. Правда, мы почти не заходили в его хижину, ночи были достаточно теплыми, чтобы спать под открытым небом, а днем Ричарду и вообще ничего не требовалось, кроме солнца и моря.

— Не забывай о том, что случилось в тот раз с тобой и Китом, — с тревогой напомнила я. — Будешь знать, как ходить нагишом.

— Разве я тебе таким не нравлюсь?

Я смотрела на его мокрое, сверкающее на солнце тело и молчала. Не прошло и трех дней со дня нашего приезда, а он уже успел загореть. Все его тело покрылось ровным загаром. Казалось, он был изваян из золота, даже капли воды, скатывавшиеся на лоб, даже волосики на светло-

коричневой коже отливали золотом, а сама кожа, тугая и упругая, напоминала атлас.

Ричард вполне мог бы послужить натурой для превосходного изваяния, только не из мрамора. Тело у него было гладкое и твердое, с четко очерченными линиями, с ровными поверхностями, без каких-либо изъянов, и от него струилось тепло, которое сперва обволакивало нежностью, потом наполняло истомой, зажигало вас и зажигалось обжигающим пламенем само.

И все же, глядя сейчас на Ричарда, такого спокойного, безмятежного, даже апатичного, трудно было бы заподозрить в нем страстность. Каждый раз он удивлял меня невообразимым экстазом, и каждый раз казалось, будто это для него внове. Но я держала это открытие при себе/тщательно храня тайну, ту высшую тайну, изумительную, великолепную, которая существует в отношениях между мужчиной и женщиной.

Приподнявшись на локоть, Ричард спросил:

— О чем ты думаешь?

— О тебе.

— Что именно?

— Думаю, какой ты страстный.

— Это тебя удивляет? Напрасно. Я тебя долго ждал.

— Слишком долго. Я все спрашивала себя…

— Течет ли по моим жилам кровь?

— Нет, нет, — решительно ответила я. — Это мне и в голову не приходило. Меня лишь озадачивала… твоя выдержка.

— Мужчина не должен добиваться близости с девушкой только потому, что испытывает к ней влечение. Если, конечно, ее любит.

— А потом? Когда это было уже не просто влечение, когда ты сказал, что любишь меня?

— Разве ты не знаешь причины?

— Ты не был уверен в себе?

— Нет, не поэтому. Потому что у тебя никого меня не было. Ты сама мне это сказала, хотя могла и не говорить.

Наши мысли и чувства то светлели, то мрачнели, меняясь так же быстро, как окраска окружавших нас дюн менялась оттого, что мчавшиеся над нами тучи то и дело заслоняли солнце.

Его глаза были устремлены на меня, и я видела, как они темнеют. Даже при свете яркого летнего дня они казались скорее черными, чем голубыми.

— Мужчина не сразу ложится с женщиной, если знает, что он у нее первый. Особенно, если он. ее любит. Лучше дождаться, когда она сама к

нему придет.

Я сидела и молчала. Он протянул руку и заставил меня лечь рядом.

— Я так долго жаждал тебя. Это было похоже на мучительный недуг. Ты можешь меня понять?

— Да.

— Я и сейчас жажду, — сказал он, целуя меня. Его губы утратили мягкость, и в теле не чувствовалось прежней пассивности. Повинуясь какому-то странному инстинкту, я вырвалась и отстранилась от него; меня пугало его нетерпение.

— Только не здесь, — взмолилась я. — Потом…

— Нет, здесь! Сейчас.

— Не надо, — попросила я, задыхаясь. — Ведь тут…

— Мы одни, — сказал Ричард, не выпуская меня. — Совсем одни.

Я окинула взглядом небо, дюны… Везде было пусто. До слуха доносился только шум моря.

— Вот видишь, — тихо проговорил Ричард. — Кругом — ни души. Мы одни.

Во мне медленно пробуждались ответные чувства. Они набухали и лопались одно за другим, точно бутоны. В этой трепетной тишине я слышала, как шумит в ушах кровь, чувствовала ее бешеную беспорядочную пульсацию; я забыла

обо всем на свете, утонув в диком, необузданном ритме любви.

Когда я проснулась, солнце уже садилось; его блестящий оранжевый диск опустился почти до линии горизонта, заливая ярким янтарным светом и землю, и море, и небо. Это сияние не грело нас, но придавало нашим телам цвет огненно-красной меди.

Ричард спал еще, «го тяжелая рука лежала на мне, волосы на голове были взъерошены, лицо раскраснелось. Я не двигалась, боясь потревожить его, но надежно эта неподвижность, очевидно, и заставила его очнуться. Он приподнял голову.

— Мира?

— А?

— Я думал, ты спишь. — Он повернулся ко мне лицом.

— Я только-только проснулась, — сказала я, пододвигаясь к нему. Моя сонливость еще не вполне прошла, мне было тепло и уютно.

— Милая, мне так хорошо! Чудесно быть вместе с тобой. И не только сейчас, а всегда. — Голос Ричарда был полон нежностью.

— Жаль, что мы не можем быть всегда вместе.

— Скоро будем.

— Но тебе, возможно, придется уехать.

— Я вернусь. Я всегда буду к тебе возвращаться.

Я верила ему, верила, что он сдержит свое обещание, как будто любовь — талисман, который не даст нам разлучиться, защитит нас от войны и от всего, как будто до нас не было уже миллионов людей, которые тоже этому верили и тоже были обмануты.

— Я никогда не покину тебя, — сказала я. — Никогда.

Этому я тоже верила. Я обвила его руками и прильнула к нему всем телом. Самый дорогой на свете! Мой любимый!

— А я никогда не захочу, чтоб ты меня покинула, — ответил он.

Он тихонько гладил мои волосы, кончики его пальцев нежно касались моего лица, затылка, шеи, плеча… Я лежала спокойно, отдаваясь этой нежной ласке. Ощущение было очень приятное, не слишком острое и, пожалуй, даже умиротворяющее. Я была счастлива, понимала, что счастлива, но это было не то абсолютное счастье, какое испытывают люди, не раздумывая, бросающиеся в бездну любви.

Наконец я села и с сожалением сказала:

— Пожалуй, пора возвращаться.

— Да.

— Поздно, надо идти.

Но мы продолжали сидеть. А между тем быстро смеркалось, с моря на нас надвигалась тьма. Мы встали и пошли по берегу. Волны светились изумрудной россыпью. Ступни наших ног оставляли на мокром песке багровые фосфоресцирующие следы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Чувствовалось, что жаркое время года подходит к концу: солнечный свет был уже не белым, а желтым. Приближался дождливый сезон. В горах, видимо, шли дожди, потому что оттуда почти все вернулись, но на равнине было еще сухо.

Купе во всех четырех вагонах «Горного экспресса» были заполнены до отказа. Девять месяцев в году даже администрация железной дороги, вероятно, не помнила об этой небольшой ветке; зато остальные месяцы экспресс, если он, конечно, заслуживает этого названия, был набит пассажирами. И вот он с шумным пыхтеньем подкатил к вокзалу. За стеклами виднелись бледные растерянные лица людей, неожиданно окунувшихся в зной, от которого они уже успели отвыкнуть за несколько прохладных месяцев жизни в горах.

Ричард окинул критическим взглядом пассажиров, вылезавших из вагонов, и сказал:

— Когда мы вернемся с гор, ты будешь выглядеть точно так же.

— Ну, уж нет. Я не стану пудриться, не стану подводить глаза и красить губы, и тогда пот не

причинит урона моему достоинству.

Мы расхохотались, как школьники. Ричард прошептал:

— У мужчин тоже ужасный вид, милая? Ты только взгляни!

И действительно: те, у кого когда-то была белая кожа, стали пятнисто-красными, а смуглые окрасились в странный багровый цвет. Лица женщин, напудренные и накрашенные в горной прохладе, походили на стену с облупившейся штукатуркой. Окруженные капризными детьми и нерасторопными слугами (без которых они, однако, никогда не обходятся во время своих поездок), пассажиры с раздраженным видом. стояли на перроне, где и без того, как это всегда бывает в Индии, толпилось слишком много народа.

Каждый из них вез кладь, считающуюся неотъемлемой принадлежностью индийского путешественника: мешки с одеялами, постельными принадлежностями и противомоскитными сетками; большие корзины с бутылками содовой воды, питьевой воды и молока; корзины поменьше — с пахучими склянками, наполненными нашатырным спиртом, маслом лимонного сорго и различными порошками и жидкостями для борьбы с насекомыми; теплые пледы, тро-

пические шлемы, солнечные очки, термосы, в которых позвякивали либо кусочки льда, либо (это опасение преследует вас на всем протяжении пути) — разбитое стекло. А тут еще шумные, суетливые, несносные слуги со своими бесформенными узлами, бог весть чем набитыми и перевязанными грязными полотенцами, с глиняными кувшинами и помятыми железными сундучками.

Вот подошел, лязгая буферами, другой поезд, чтобы везти этот живой груз дальше, в глубь равнины. Но он не спешил отправляться-: мы видели, как отцепленный паровоз осторожно, с утомительной медленностью, пятился к поворотному кругу. Тем временем пассажиры начали грузиться в вагоны — пропыленные, злые, недовольные тем, что их не так быстро, как хотелось бы, увозят из этого пекла.

— Чем возвращаться оттуда в таком паршивом настроении, лучше уж совсем не уезжать, — заключил Ричард.

— Когда мы вернемся, мы тоже будем измучены, сказала я. — И вид у нас будет не лучше.

— Милая, можешь ты мне объяснить, чем они так измучены?

— Жарой.

— Нет, — возразил он. — Они измучены заботами о своих бесчисленных узлах. Не умеют путешествовать налегке.

— Зато мы умеем, — проворчала я. Мысль о собственном багаже стала серьезно меня беспокоить. — Здесь-то температура плюс сто[15], а а горах — холодно. У нас с собой один чемодан. А ведь скоро пойдут дожди.

— Я же купил тебе пальто, — напомнил он. — Разве это не в счет?

Я ничего не ответила. Он действительно купил мне пальто, хотя для этого ему пришлось объехать чуть ли не всю округу. В этих краях, да еще летом, пальто — большая редкость, чем алмазы в пустыне.

— Другие женщины радовались бы новому пальто, — продолжал Ричард. — Особенно…

— Дома их у меня несколько десятков, — перебила я. — Их ест теперь моль.

— Я не вынес бы, увидев тебя в пальто, изъеденном молью. Все, что угодно, только не это.

Наш спор, вероятно, продолжался бы, если бы «Горный экспресс», стоявший у противоположной платформы, не запыхтел, готовый тронуться,

---

[15] Примечания: 15

Плюс сто по Фаренгейту — плюс тридцать восемь по Цельсию.

Ричард взял чемодан, и мы сели в вагон. Кроме нас двоих, в купе никого не было. Другой поезд, который начал двигаться рывками по узкой прямой колее в противоположном направлении, был до отказа набит людьми.

Ричард спросил:

— Ты уверена, что мы едем туда, куда нужно?

— Уверена, что нет, — засмеялась я. Видимо, жара сделала меня чуточку легкомысленной.

— Тогда выйдем, — сказал он и выскочил из вагона.

— Ричард! — пронзительно закричала я, высунувшись из окна. — Не дури! Останешься здесь! Поезд сейчас тронется! — Поезд медленно заскользил вдоль платформы. — Ричард! — отчаянно завопила я. — Садись же! Мы…

Но тут я поняла, что движется не наш поезд, а тот, который идет в другом направлении, и немного успокоилась.

Ричард стоял, посмеиваясь.

— У меня тут есть одна мысль.

— Ах, вон что.

— Правда. Если выйдешь, я скажу, что придумал. Поторопись. Дежурный уже флажком машет.

Негодующая, я выбралась из вагона, размахи-

вая железнодорожными билетами.

— Зачем же мы билеты брали? Что мы будем с ними делать?

— Ты коллекционируешь билеты?

— Еще чего не хватало!

— Тогда выбрось.

Я с ожесточением бросила картонки на пути, вслед уходящему «Горному экспрессу».

Ричард сказал:

— Мы поедем в открытом автобусе. В Индии мне еще не приходилось в них ездить. А тебе?

— Что же ты сразу не сказал? — В голосе моем все еще звучала обида. — Можно было бы обменять железнодорожные билеты на автобусные. — Как ни странно, этот обмен действительно был возможен.

— Милая, не будь такой жадной. Откуда в тебе скупость?

Если б не это обвинение, я бы подняла брошенные билеты или, по крайней мере, напомнила бы ему, что раз уж он отказался от поезда, то лучше ехать не в автобусе, а в собственной машине, которая стоит на платной стоянке.

В отличие от поезда, автобус оказался почти полным; с окончанием лета в горах прекращается только светская жизнь, простые же люди

продолжают туда ездить, не считаясь с сезонами, только пользуются они автобусами, которые дешевле поездов.

У автобуса была крыша, но не было бортов. Кресла заменяли привинченные к полу скамьи. Те, кто сидел с краю, чтобы предохранить себя и своих соседей от падения, держались за железные поручни, прикрепленные к полу и крыше. Когда мы подошли к автобусу, пассажиры услужливо потеснились, высвободив для нас место на передней скамье, прямо за спиной водителя. При резком торможении сидевшие сзади старались держаться крепче, чтобы не наваливаться на нас.

Прежде чем мы тронулись, над головами у нас долго раздавался грохот: это шофер пристраивал наш чемодан н& крыше. Весь багаж пассажиров, за неимением другого места, помещался наверху: сундуки, узлы, мешки с картофелем, сетки с овощами, плетеные корзины с птицей, гроздья бананов, даже вязанки дров.

— Надеюсь, с ним там ничего не случится, — с беспокойством сказала я. — Это все, что…

Не успела я договорить, как добрый десяток голосов заверил меня, что все будет хорошо. Ничего, ничего с чемоданом не случится. Водитель

тоже, свесив с крыши голову, подтвердил:

— Ничего, ничего не случится.

Однако эти заверения, как потом выяснилось, основывались всего лишь на оптимистическом предположении: на первом же крутом повороте (презирая дорожные знаки, водитель нигде не снижал скорости) с крыши упала большая жестяная коробка; подпрыгнув несколько раз на дороге, она раскрылась, и из нее вывалилось все содержимое. Владелец коробки завопил и, когда автобус остановился, побежал назад собирать свои пожитки. Другие пассажиры, смеясь, помогали ему.

Когда мы начали подъем, одной из женщин сделалось плохо, и машина опять остановилась. Еще два раза мы останавливались из-за того, что стало холодно, и пассажиры бегали в кусты, мужчины в одну сторону, а женщины — в другую. Потом была остановка на обед и еще одна — из-за начавшегося дождя: шофер опустил боковые брезентовые стенки.

После езды в открытой машине мне стало немного не по себе, когда я очутилась в некоем подобии закрытого ящика, из которого нельзя ничего увидеть, разве что через небольшое ветровое стекло и через узкие слюдяные окошки,

окрашивавшие чудесный зеленый ландшафт в неприятный желтый цвет. К тому же водитель, словно одурев от холодного воздуха, гнал машину с бешеной скоростью, не замедляя движения даже на самых крутых поворотах. Я хотела тронуть его за плечо (этим жестом здесь принято останавливать машину), но раздумала, испугавшись насмешек Ричарда, и постаралась взять себя в руки. Пассажир, сидевший рядом со мной, наблюдал за мной сочувственно, но не без опаски.

Наконец, дождь перестал так же неожиданно, как и начался; водитель поднял боковые стенки. Я увидела вдали серую дымку, окутывавшую горные вершины, но здесь, внизу, воздух был кристально прозрачен и напоен сладким ароматом сосен, которые росли выше нас на горных склонах.

По окончании летнего сезона жилье в горах найти нетрудно: гостиницы пустуют, многие дома сдаются внаем. Греясь в лучах предвечернего солнца, мы ходили от одного дома к другому и выбирали: один казался нам слишком большим, другой — слишком новым, у третьего нет сада, четвертый с плохим видом… Но вот наконец мы нашли то, что понравилось нам обоим. Это был дом, стоявший в лощине, посреди запущенного

магнолиевого сада и сосновой рощи. Слуги тотчас же принялись готовить ужин и растапливать камин.

— Как тут чудесно! — сказала я, протягивая руки к огню и наслаждаясь теплом. А ведь каких-нибудь Пять часов тому назад я была далеко не в таком радужном настроении.

Снаружи шел сильный дождь, и от его шума, сливавшегося с шумом ветра, внутри казалось еще уютнее.

— Гулять пойдем позже, когда дождь немного стихнет, — сказал Ричард. — Я думаю, будет еще не слишком темно.

— Промокнем, — возразила я. — Ведь у нас нет ни плащей, ни зонтов.

— Зонты здесь не годятся. Слишком сильный ветер. Но мы спросим у слуг. Найдется же у них пара плащей, ведь они живут здесь круглый год.

Я невольно улыбнулась.

— С этого ты и начал, когда приехал в нашу страну.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты взял у слуг одежду. Мама была тогда в ужасе.

Мы засмеялись. Память о прошлом сближала нас, и я подумала: он и сейчас такой же, каким

был! И за это я любила его еще сильнее.

В тот вечер мы так и не пошли гулять, потому что дождь не стихал, а ветер просто неистовствовал. Сидя у камина и слушая, как скрипят за окном деревья, словно мачты корабля в бурю, мы сами не заметили, как уснули.

— Я спрошу у них утром, — услышала я собственный голос.

Открыв глаза, я с удивлением увидела, что утро уже настало. Это было ясное солнечное утро. Эвкалипты за окном перестали раскачиваться; их резкий запах наполнял всю нашу комнату. Свет, проникавший сквозь двустворчатые жалюзи, золотистыми гребешками падал на пол.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Отдых кончается в воскресенье, а в понедельник надо выходить на работу. Так уж заведено везде. Мы нехотя упаковались, в последний раз пообедали, наслаждаясь запахом опавших после бури лепестков, и заплатили за молоко, творог, яйца, масло, домашнее пиво, дрова и за взятую у слуг одежду, которую мы оставили себе. Покончив с делами, мы пошли подышать хвойным запахом и полюбоваться камелиями. Глядя на склоны гор, порыжелые, сияющие после дождя тусклым блеском, мы сказали себе: когда-нибудь мы снова сюда приедем.

Дорога сбегала вниз спиралью. За несколько часов езды вы спускаетесь на семь тысяч футов и снова оказываетесь на уровне моря. Уже несколькими стами футов ниже вы не увидите сосен и эвкалиптов, окружающих вершины гор темно-зелеными поясами, а еще через сотню футов туман скроет от ваших глаз даже макушки этих деревьев.

Автобус спускается все ниже и ниже. Вот уже позади остаются рододендроновые заросли и

густой, непролазный малинник; водопадов стало меньше, воздух потеплел, и вы сбрасываете с себя шарф и пальто.

Вдоль обочины извилистой дороги, как гигантские костяшки домино, выстроились побеленные камни с обозначением высоты над уровнем моря. Всякий раз, когда вы подъезжаете к такому камню (а их тут по два на каждую тысячу футов), меняется пейзаж и меняется температура воздуха. Наконец вы добираетесь до равнины и оказываетесь среди пальм, бамбуковых рощ и банановых плантаций; дорога здесь выпрямляется, и зной захлестывает вас дымящимися волнами.

Очутившись наконец внизу, мы сели в свою машину. Выехали мы утром в воскресенье, а к середине дня уже достигли предместий города. Мы так долго пробыли вместе, не разлучаясь ни днем, ни ночью, что казалось невероятным, как это мы вдруг разойдемся в разные стороны и как переживем — пусть недолгое — время, которое пройдет, прежде чем мы увидимся снова.

Я попробовала не думать об этом. Когда мы проезжали мимо базара, я посмотрела в окошко. Вокруг было спокойно. Я подсознательно отметила, что в этом спокойствии есть что-то неестественное даже для воскресного дня, но

была слишком расстроена, чтобы это осмыслить. Стремясь оттянуть минуту расставания, я внезапно предложила:

— Пойдем пешком… Мне уже надоело ехать на машине.

— Хорошо, — сказал Ричард. Надо было только решить, где оставить автомобиль: тот, кого за ним пришлют, должен легко его найти.

Подумав, Ричард въехал в узкий тупик и остановился. После того как двигатель заглох, тишина стала особенно напряженной. Она как бы окружила нас стеной, давила на барабанные перепонки; и в то же время это была неполная тишина: мы слышали, как по соседней улице со скрипом тащится колымага, слышали громыхание двуколки, щелканье хлыста, шелест шин, позвякивание велосипедного звонка. Но я продолжала беспокойно прислушиваться, словно ожидая услышать еще что-то, хотя и не знала, что именно. Потом я вдруг поняла, в чем дело. Не слышно обычного базарного шума, похожего на гудение гигантского волчка.

Несколько мгновений мы сидели в нерешительности, потом Ричард поднял стекла автомобиля, а я причесала грязные от пыли порыжевшие волосы и вытерла платком потное лицо.

Обычно, стоит лишь поставить машину где-нибудь возле базара, как около вас, словно из-под земли, вырастают нищие, а вокруг нищих скоро собирается целый сонм зевак и детей, которые только и смотрят, как бы чем-нибудь поживиться.

На этот раз вокруг нас никого не было. Ни души. Мы вылезли из машины. Ричард взял меня под руку, и, миновав несколько переулков, мы прошли на торговую улицу. Двери домов были плотно закрыты, окна занавешены. От чего? От солнца? Ставни на витринах магазинов опущены. А почему бы и нет? Сегодня воскресенье. Но лотки, прежде никогда не закрывавшиеся, теперь были затянуты рыжей мешковиной; натыкаясь на эту неожиданную преграду, мухи раздраженно гудели.

Ричард спросил:

— Что случилось? Ты знаешь?

— Нет. Сейчас спрошу.

На противоположной стороне улицы, в полуоткрытых дверях, стоял человек. В доме горел свет, отчетливо обрисовывая его силуэт.

Я перешла улицу. Человек смотрел на меня почти бесстрастно, лишь с некоторой подозрительностью. Он жевал бетель, и губы его были

кроваво-красными от сока. Наконец, смерив меня взглядом с головы до пят, он проговорил:

— Вы хотите знать?..

— Поэтому я и спрашиваю.

Он презрительно бросил в ответ:

— Где же вы пропадали все это время?

— Меня здесь не было шесть недель.

Видимо, смягчившись, он подался вперед и прошептал несколько слов, но я их не разобрала. Он хотел было повторить, но в это время подошел Ричард, и он остановился на полуслове, сплюнул жвачку в канаву и повернулся к нам спиной. Дверь с шумом захлопнулась.

— Что он сказал?

— Ничего.

— Но он же что-то сказал.

— Я не расслышала.

Мы пошли дальше. Улицы были не убраны, прохожих попадалось совсем мало. Будь это не днем, а вечером, можно было бы предположить, что объявлен комендантский час. У нас было такое ощущение, будто по пятам за нами, словно некое живое существо, ползет ненависть. Оборачиваясь, мы не замечали ничего подозрительного. Однако мы были уверены, что за каждой занавеской, за каждой наглухо запертой

дверью притаились настороженно следящие за нами люди. Я несколько раз инстинктивно поворачивала голову, словно стремясь застигнуть врасплох тех, кто за нами подсматривал, но никого не могла заметить. Да я и не ожидала никого увидеть. Никого и ничего.

И все же на всех улицах за нами велось неослабное наблюдение. С возрастающим беспокойством я разглядывала щиты с объявлениями и афишами, пытаясь найти какой-нибудь ключ к раскрытию, тайны. Тщетно.

— Ты можешь это прочесть? — Ричард показал на выцветшее полотнище, протянутое поперек узкой улочки. На нем были грубо намалеваны какие-то слова. Краска подтекла, строки сливались, и трудно было их расшифровать. Но смысл угадывался безошибочно — лозунг начинался и кончался непристойной бранью и был исполнен такой ненависти, какую способна накопить в себе только оккупированная страна.

— Пойдем, — сказала я, беря Ричарда под руку.

— Что здесь написано?

— Ничего такого, что я могла бы перевести.

Он сказал:

— Кое-что я понимаю. Но не все.

— Пойдем, — повторила я. И пошла сама, наде-

ясь, что он последует за мной. Но он продолжал стоять под трепетавшим на ветру полотнищем, стараясь разобрать черные расплывшиеся буквы.

В этом месте улица круто сворачивала; сделав еще несколько шагов, я вдруг оказалась за углом. «Пожалуйста, пойдем, — мысленно умоляла я Ричарда. — Пожалуйста, пойдем. Ну, пожалуйста…» И тут я услышала громкий звон — звон разбитого стекла, приближаясь по извилистой улице, этот звук непрерывно нарастал. Он был так оглушителен, что я впала в оцепенение. Несколько секунд я стояла, подняв голову: все небо вдруг застлали крылья каких-то зловещих птиц. Затем послышался другой звук, похожий на слабое шипение выходящего газа. И тогда я побежала, чувствуя, что страх вот-вот обрушится на меня, словно падающая башня.

Ричард не двигался, он стоял там же, где я его оставила. Он поймал меня в свои объятия и крепко прижал к себе. Сначала я не слышала, что он говорит, в ушах у меня все еще гремело. Я плотно прильнула к нему. Только бы его не выпустить. Если разниму руки — меня унесет прочь. Уйду — он останется. Или его унесет прочь, я же пропаду здесь одна.

Немного погодя я обрела дар речи.

— Что случилось? Тебя ранило?

— Нет, все в порядке. Пойдем.

— Что случилось? — повторила я.

Он толкнул ногой острый треугольный кусок янтарного стекла.

— Точно не знаю… В меня кинули вот это.

Что бы это ни было, бросок был точным *и* сильным. Стеклянная посудина пролетела мимо Ричарда на расстоянии всего нескольких дюймов и разбилась о вымощенную камнями сточную канаву. Ее осколки упали в густую, вязкую жижу, а содержимое, вспенившись, брызгами разлетелось по улице, наполнив воздух едким запахом.

Поблизости находился небольшой альков, образованный покосившимися стенами двух полузаброшенных домов. Судя по остаткам тростниковой крыши и копью с широким наконечником, водруженному перед каменным жертвенником, здесь некогда помещалась молельня.

Ричард завел меня в это убежище, и я присела на камень. Только тогда я почувствовала, что силы меня покидают. Над головой все еще кружились вороны и коршуны, казавшиеся совершенно черными на светлом фоне неба.

— Подожди здесь, — сказал Ричард. — Я схожу за машиной.

Я встала.

— Нет. Я пойду с тобой.

— У тебя немного усталый вид. Дай уж я…

— Нет. Пожалуйста. Я пойду с тобой.

— Зачем? Ты думаешь, так для меня безопасней?

— Я только хочу…

— Ты думаешь?..

— Ну, пожалуйста, Ричард! — сказала я в отчаянии. — Не спрашивай меня ни о чем. Я хочу пойти с тобой. Хочу быть вместе с тобой. Разве это не естественно?

Он не стал больше спорить. Мы пошли обратно тем же путем. Реальность, которую мы не хотели признать, впилась в нас, точно вампир, сосущий кровь, и наша любовь, этот, казалось бы, нерушимый союз, оказалась под угрозой.

И вот настала перемена — такая незаметная, почти неуловимая, что я не могла сказать, как она произошла, эта перемена, я только знала, что она произошла; и хотя я внушала себе, что ошибаюсь, в глубине души росла уверенность, что никакой ошибки здесь нет. Тишина, царившая на этих улицах, завладела и мной. Я стала

ее неотъемлемой частью, она уже не отвергала меня; и что бы ни делал тот, кто оказался под невидимым покровом тишины, он уже не может с такой легкостью протянуть руку оставшимся снаружи.

С некоторым удивлением я обнаружила, что автомобиль стоит на прежнем месте. Его никто не тронул. Ричард включил заднюю передачу и стал выруливать из тупика. Тишина подхватила шум двигателя, усилив его до хриплого рычания. Шум этот казался вульгарностью, бестактностью по отношению к столь полной тишине.

Ричард сказал:

— Поедем другим путем. В объезд базара.

— Хорошо.

— Правда, это займет у нас гораздо больше времени. Хорошо еще, что бак полон.

— Да.

Непринужденная беседа. Словно между случайно встретившимися знакомыми. Разговор о пустяках, чтобы заполнить щели, которые могут превратиться в пропасти — непроходимые пропасти.

Целый час мы петляли по кривым улочкам, прежде чем добрались до противоположного края базара. Атмосфера тут была уже не такая

напряженная. Угнетенное состояние мало-помалу проходило. Потребность в непрерывном поддержании разговора уменьшалась, пока не отпала совсем. Теперь можно было и помолчать; между нами установился неустойчивый мир.

Через некоторое время мы въехали в жилой район; и здесь, среди респектабельных особняков и веселых газонов, трудно было поверить, что случай, только что происшедший с нами, был чем-то реальным. В паническом страхе убегая от действительности, я молилась, чтобы это был сон. Ах, если бы это был только дурной сон! Я готова была терпеть, сколько хватит сил, лишь бы в конце концов избавиться от него. Но ведь я знала, все время знала, что бежать не так-то просто, дверь открывается только в одну сторону, и если из нее выйдешь, то обратно уже не вернуться.

Ричард что-то сказал, но я не расслышала. Ему пришлось повторить:

— Куда едем? К твоему брату?

— Нет, к Рошан. Мои вещи у нее.

Дом Рошан, в котором она бывала так редко и который оставляла с легким сердцем, даже не испытывая сожаления. Старый дом строгого, без педантизма, колониального стиля, но с изящным сводчатым порти? ком и подъездами, а также

двумя наружными витыми лестницами ажурной работы, живописно поднимавшимися до самой крыши.

Ехать нам оставалось совсем немного. И то, что еще не было высказано, таилось в нас, словно злой дух, который можно изгнать только одним способом.

«Сейчас я скажу ему», — подумала я. Еще миля осталась позади. «Сейчас». Еще миля. Мы съехали с гудронного шоссе на проселочную дорогу, ведущую к дому Рошан. Отсюда уже была видна бугенвиллея в полном цвету; ее тяжелые оранжевые и пурпурные листья ярко горели на фоне белых стен дома.

— Ричард, — наконец выдавила я. — Ты не думай, что…

Мы уже почти приехали, мы были у ворот, от которых начиналась мощенная каменными плитами подъездная дорога. Переполнявшие ум мысли никак нельзя было выразить в словах, испуганно шарахавшихся от бурных водоворотов, образованных этими мыслями.

Машина замедлила ход, потом остановилась. Нужные слова все не находились. Вот стих двигатель, и в наступившей тишине стало слышно, как шелестят вафлеобразные листья бугенвиллеи.

Казалось, это шуршит бумага.

Ричард молча обнял меня. Я прижалась к нему, плотно закрыв глаза. Любовь болью отдавалась в груди. Но это длилось лишь несколько мгновений. Потом мной снова завладел злой дух — назойливый, беспокойный. Отстранясь от Ричарда, стараясь смотреть на него в упор, я сказала:

— Ричард... Это не тебя ненавидят... не таких, как ты. Поверь мне! — с отчаянием в голосе воскликнула я. — Не могу я...

Он спокойно посмотрел на меня.

— Ужасно неприятно чувствовать себя нежеланным. Хуже того, ненавистным.

— Разве ты не слышал, что я тебе сказала: ненавидят не тебя. Я же знаю!

Он мягко возразил:

— Ты действительно считаешь, что ко всем можно подходить по-разному? К каждому с отдельной меркой? В наше время? После того, что сегодня случилось?

Конечно, нет. На это никому не хватает ни терпения, ни мужества, ни времени. Либо на этой стороне, либо на той. Совсем просто, даже ребенок поймет. А что посередине? Да ничего! Ты показываешь свой значок и занимаешь место

либо справа, либо слева. Середины нет. У тебя нет значка? Его заменит твое лицо, цвет твоей кожи, твое произношение, твоя одежда. Ты не просила, чтобы тебя куда-нибудь зачисляли? У тебя нет выбора и нет другого места. Но ведь человек — сам себе хозяин, он может…

— Ты дрожишь, — сказал Ричард, прижимая меня к себе. — Что с тобой, милая? Чего ты боишься? Все уже кончилось.

Но это был не конец, а только начало. Начало чего? Этого я сказать не могла.

Говорят, что в жизни бывают моменты, когда человек отворяет дверь будущему. Мне казалось, что такой момент наступил. Но‘у меня не было ни сил, ни мужества посмотреть в лицо грядущему. Поэтому я и не могла говорить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я немного удивилась, застав Рошан дома. Как она объяснила, освободили ее потому, что понадобилось место для других.

— Сначала я не жалела, что меня выпускают, — сказала она. — Тесновато стало в камере. Но когда вышла на свободу, то увидела очередь: люди ждут, когда их посадят. Если б я знала об этом, то не вела бы себя, как ягненок.

Слушаешь Рошан и никогда не поймешь, серьезно она говорит или шутит. Я спросила:

— Много было беспорядков?

Рошан пожала плечами.

— Не так много, как ожидали некоторые.

— Например, Говинд?

Она ответила не сразу.

— Да, и Говинд… Но он требует от людей больше, чем они могут дать.

— Мы были сегодня около базара, — сообщила я.

— И что же?

— Нам пришлось объехать его стороной.

Рошан кивнула.

— Да, да, это, пожалуй, самый неспокойный район.

Я поняла, что не сказала ей ничего нового. Мы обе молчали, обе думали о Говинде, и нам казалось, что он сейчас рядом. Мы так хорошо понимали друг друга, что когда я чуть слышно пробормотала: «Надеюсь, его не…», — то Рошан сразу догадалась, кого я имею в виду и что хочу сказать.

— Он на свободе. Ведет активную пропаганду… Особенно в районе около базара.

Я кивнула. Я уже об этом догадывалась. Да, в сущности, и не догадывалась, а была уверена.

— Ему следовало бы получше отдохнуть, — проговорила я наконец устало. — У него тогда был такой измученный вид.

— Ты же знаешь его не хуже меня. Разве он умеет отдыхать?

Я отправилась к себе в комнату собирать вещи. Рошан пошла за мной следом, но не для того, чтобы помочь. Она уселась о ногами на кушетку, обитую шелковой малиновой тканью, оттенявшей унылый цвет ее одежды, и стала смотреть, как я укладывала в саквояж вещи. Когда я кончила, она спросила:

— Едешь обратно к Киту?

— Да.

— Жаль.

— Почему?

Она, видимо, хотела что-то сказать, но передумала и лишь бросила беззаботным тоном:

— Разумеется, не потому, что мне будет скучно без тебя. Из-за всей этой суетни мы, кажется, ни разу и в доме-то не были вместе.

Это была правда. Я невольно рассмеялась, чувствуя себя немного смущенной. А мой вопрос так и остался без ответа.

Помолчав, она весело добавила:

— Скоро, может быть, мы опять будем работать вдвоем… Мое долготерпение начинает приносить чудесные плоды. — Она сказала эти слова с серьезным видом, как будто даже в тюрьме у нее была какая-то возможность выбора.

Я спросила:

— Ты знаешь что-нибудь точно?

— Нет, но так считает Мохун, а он никогда не делает необоснованных предположений.

Я невольно подумала: разве можно быть в чем-нибудь уверенным, когда имеешь дело с такой женщиной, как Рошан? Но я не стала высказывать своих сомнений вслух. Как бы то ни было, слова Рошан меня обрадовали. В этом настроении

я и отправилась домой, к Киту.

Премала встретила меня, улыбаясь. Она была одета в сари из мягкого узорчатого ситца, на бедре у нее сидел ребенок. Ее безмятежное настроение еще больше ободрило меня.

Она усадила меня в саду, под золотым дождем[16], где сидела до моего прихода.

— Милая, как я рада тебя видеть! — с чувством воскликнула она. — Тебя так долго не было. А отпуск пошел тебе на пользу: свежая, загорелая, просто прелесть… Такой и оставайся…

— Да ты и сама недурно выглядишь, — с улыбкой заметила я. — Лицо немного округлилось и стало не такое бледное, как раньше.

Премала была довольна.

— Спасибо на добром слове. Обязательно скажу Киту, он ведь хотел отправить меня в горы. Считает, что жара на меня плохо действует. А у меня столько дел…

Между тем девочка, уже переставшая меня бояться, зашлепала ладошкой по руке Премалы и стала нетерпеливо вертеться, пытаясь соскользнуть на пол. Премала нагнулась и посадила ее в

---

[16] Примечания: 16

Золотой дождь (ракитник) — растение, цветущее боль шими желтыми цветами.

манеж. Но малютка и там не успокоилась. Старательно упершись широко расставленными ручонками в пол, она приподнялась и начала медленно разгибать ноги в коленях. Еще одно усилие — она решительно оторвала руки от пола и выпрямилась, слегка пошатываясь, но все же сохраняя равновесие.

Премала засмеялась, — глаза ее нежно смотрели на ребенка, радующегося своей победе.

— Славная малышка… У меня еще ни разу не было с нею хлопот, даже в разгар лета… Когда Кит собирался отправить меня в горы, я хотеда взять ее с собой. Но у меня столько дел!

— В деревне?

Она кивнула и с жаром сказала:

— Ты должна, непременно там побывать. Школу и не узнаешь, такой она стала большой… Я бы и сама не поверила, что так будет, но оказалось, что Хики был прав.

— Прав? В чем?

— Он всегда говорил, что деньги найдутся… Мужественно делал свое дело, и деньги в самом деле нашлись. Недавно приняли еще четырнадцать ребят. Пристраивают флигель, потом мы рассчитываем…

Она подробно, с любовью рассказала о том,

что сделано, и столь же подробно — о том, что предстоит сделать. Говорила она спокойным, уверенным тоном, словно веревки, которыми эти воздушные замки будут притянуты к земле, уже свиты. От волнения кровь прилила к ее щекам; в. ее облике появилось нечто новое, почти неуловимое — блеск в глазах, спокойствие, которого она не испытывала с тех пор, как переехала в этот город. От нее словно исходил спокойный жар, какой излучает раскаленный в тигеле — кусок золота, с которого сбили окалину. Такого состояния достигают лишь люди, прошедшие долгий путь страданий.

Она сказала:

— Сначала казалось, что нам ни за что не справиться с такой оравой... Конечно, нам много помогали, люди у нас замечательные, когда заставишь их слушать.

— И вам удается заставить?

— Вот это-то и трудно.

Порывами набегал ветер, осыпая дождем лепестки цветов. Девочка стояла с поднятой головой в своих яслях и, охваченная восторгом, тянула вперед руки, пытаясь поймать золотистые лепестки^ ускользавшие от ее неловких пальцев.

Премала сказала:

— Дожди в этом году задержались… Надеюсь, будет не слишком поздно…

— Слишком поздно? — повторила я. — Для чего?

— Для посевов.

Не понимаю, почему ее ответ так расстроил меня, ведь я давно уже знала, что ее дом там, в деревне, и что она прочно вросла в деревенскую жизнь. Не потому ли, что я была в отъезде и стала забывать об этом? Премала догадалась, что происходит в моей душе, и мягко сказала:

— Не думай, Мира, что я никогда не бываю дома… Я уезжаю только тогда, когда нет других дел. Да и Кит ничего не имеет против.

Так вот до чего у них дошло. Оказывается, они живут врозь, молчаливо признавая таким образом, что их брак не удался. Ну и что же? На этой основе зиждется немало браков, которые могли бы вовсе разрушиться. Иногда подобные браки сохраняются до конца жизни. И если душа моя болит за Кита и Премалу, так это потому, внушала я себе, что они — близкие мне люди. А для тех, кто нам дорог, мы хотим полного совершенства — ничто меньшее нас не устраивает.

Премала опять заговорила о деревне: о своих планах, о планах Хики, о школьниках, о при-

стройке.

— Хики хотел открыть флигель в эту субботу, — сообщила она, — но потом, узнав, что я не смогу приехать, решил отложить… Он очень предупредителен — во многих отношениях.

— Но почему ты не сможешь?

— Да ведь будет прием, — уныло ответила она. — Я обещала Киту…

— Прием? Какой прием?

— Обыкновенный. В Доме правительства. Разве ты не знаешь? — удивилась она.

Конечно, я знала. Такие приемы устраиваются ежегодно, именно в это время. Но я никак не ожидала, что и в этом году также состоится прием: традиция не должна быть нарушена.

Но ведь до субботы еще целых шесть дней, к тому времени, возможно, все изменится.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

За шесть дней тишина, установившаяся в центре торгового района, распространилась на всю его обширную территорию, затем быстро двинулась, дальше. Скоро она охватила почти весь город. Казалось, раскручивается какая-то гигантская пружина, не теряя при этом своей упругости. Только жилой район, ничего не замечая, продолжал жить своей обычной жизнью. Но теперь, благодаря странной инверсии, обычное обрело нереальность, поэтому покинуть опасный мрачный мир снаружи и вступить в этот обыденный неподвижный мир значило оторваться от реальной почвы.

Все субботнее утро я провела с Рошан в редакции — мы готовились возобновить выпуск газеты. Днем я навестила Ричарда, которого уложил в постель легкий приступ малярии, и домой приехала только к вечернему чаю. К моему удивлению, Премалы дома не оказалось. На мой вопрос, где она, слуга ответил, что не знает; знает только, что та вызвала такси и тотчас уехала, взяв с собой ребенка. Киту она оставила записку,

набросанную торопливым почерком. Вместо привычных аккуратно выведенных мелких букв на бумаге виднелись размазанные каракули.

Вскоре пришел Кит, и я вручила ему записку, которую слуга ошибочно отдал мне. Должно быть, она содержала не более двух строк, потому что Кит, едва взглянув на нее, повернулся ко мне и резко спросил:

— Ты знала?

— Что знала? — спросила я, удивившись его прокурорскому тону.

— Что она едет сегодня вечером в деревню?

— Нет. Более того, она сама мне сообщила, что останется в городе.

— Так вот — не осталась, — отрезал он. — Пишет, что ей надо было уехать. Зачем — не объясняет, но рассчитывает вернуться вовремя… Конечно, не успеет. Скоро уже шесть. — Кит нахмурился. — Придется идти без нее. Это так… неловко.

Я молчала. Кит взглянул на меня и вдруг заговорил ласковым голосом:

— Что это я на тебя накинулся? Извини. Я не хотел тебя обидеть.

— Знаю, — успокоила я его и, поддавшись внезапному порыву, с жаром добавила: — Кит!

По-моему, тебе не стоит туда ехать. Я имею в виду — на прием. Один раз можно пропустить.

— Не ехать? — Кит с удивлением посмотрел на меня. — Это почему?

— Не могу сказать с уверенностью… боюсь, что будут беспорядки.

— Беспорядки? Какие беспорядки?

— Точно не знаю. Может быть, демонстрация… волнения… Ничего страшного, надеюсь, не произойдет, но все же…

— Откуда ты знаешь?

Откуда я знаю? Все это знают. Все, кто рожден в этой стране, хотя каждый из них — всего лишь капля в общем потоке. А те, кто только плавает на поверхности? Как могут они чувствовать силу течения, как могут измерить глубину? Откуда им знать? Как им объяснить?.. Что я могла ответить?

Впрочем, Кит и не настаивал на ответе. Он угадывал мое замешательство, но не хотел допытываться, в чем его причина. Кит перевел разговор на другую тему:

— А ты разве не поедешь? Ричард там будет.

— Ричард — в постели, — сообщила я. — Но я поеду.

Он с легкой усмешкой сносил:

— Чтобы присмотреть за мной, милая? Или еще для чего-нибудь?

Но я опять-таки ничего не могла ему сказать. Разумеется, я и не думала за ним присматривать — это была бы крайне нелепая мысль. Тогда зачем же? Могу лишь предположить, что во мне говорило чувство родства, некий инстинкт, который в трудную минуту сплачивает всю семью в одно целое. Чувство настолько сильное, что ему невозможно противиться.

Пробило семь. Премала все не возвращалась. Кит посмотрел на часы и нахмурился.

— Подождем еще пятнадцать минут.

Мы молча сидели в гостиной: Кит в вечернем костюме, его черные волосы приглажены и блестят; я — в подаренном им сари из переливчатой зеленой ткани с золотыми блестками. Снаружи доносились тихие низкие звуки песни; эту песню обычно поют вечерами перед сезоном дождей.

Громко тикающие стенные часы отмерили пятнадцать минут. А сколько времени пролетело в нашем нетерпеливом воображении? Но вот часы отбили половину восьмого, заглушив доносившуюся из темноты песню.

Кит встал.

— Едем.

— Да.

Я пошла наверх за сумочкой и шалью. Когда я спустилась, Кит резко спросил:

— Интересно все-таки, что побудило ее так внезапно уехать? Ты не знаешь?

— Неужели я бы не сказала, если б знала?

Он посмотрел на меня испытующе.

— Сказала бы?

Его тон обеспокоил меня.

— Что ты, Кит! Конечно, сказала бы. Зачем мне было бы скрывать?

— Конечно, незачем, — заключил он и отвернулся. Потом, оживившись, добавил: — Ну, поехали!

Обычно в такие поездки Кит брал с собой шофера. На этот раз он сам сел за руль. Шофер был явно доволен, что его отпустили.

Тьма стояла кромешная. — Едва очутившись на улице, вы сразу погружались в непроглядный мрак. Впрочем, так обычно и бывает перед началом дождей, когда густые тучи опускаются все ниже и ниже, полностью заслоняя свет звезд.

Кит включил фары, и их ослепительно белый свет моментально образовал перед машиной как бы изолированную камеру, окруженную со всех сторон стенами темноты.

В этой камере мы и ехали, пока не приблизились к Дому правительства; там границы раздвинулись, стены растворились, кругом был свет, и перед его натиском мраку пришлось отступить.

Не знаю, кому было поручено устроить иллюминацию, но свое дело этот человек выполнил превосходно. Вдоль подъездной дороги на небольшом расстоянии друг от друга стояли столбы с праздничными фонарями, а к решетчатым оградам и. деревьям были подвешены гирлянды разноцветных лампочек. Стены дворца тоже были залиты светом; освещенные дуговыми-лампами газоны казались изумрудно-зелеными, а клумбы, усаженные каннами, сверкали, как пестроцветные ковры. По обеим сторонам этой залитой ярким светом аллеи толпился народ. Так бывало и прежде, люди каждый год приходили сюда полюбоваться иллюминацией, поглазеть на подъезжающие ко дворцу автомобили, подивиться на женские наряды, выразить свое одобрение оркестрантам. Только на этот раз не было слышно никаких возгласов: темные толпы застыли в немом ожидании.

Вдоль дороги, спиной к зрителям, стояли шеренги полицейских в мундирах цвета хаки, в

обмотках и алых тюрбанах. Сколько их было? Горстка — не больше. Столько же, сколько и в прежние годы. Как обычно, командовал ими один-единственный сержант-европеец. На нем также был мундир цвета хаки, но на голове у него, красовался не тюрбан, а фуражка, и талию туго стягивал кожаный ремень.

Автомобилей было так много, что они ползли друг за другом впритык. Мы двигались со скоростью пешехода между двумя шпалерами полицейских и зрителей, лица которых казались фиолетовыми при свете красных и синих лампочек. Тяжелый спертый воздух нагнетал тревогу, казалось, будто на вас вот-вот набросится приготовившийся к прыжку дикий зверь. Может быть, это ложный страх? Может быть, другие — и те, кто устроил прием, и гости — даже не ощущают этой гнетущей атмосферы? Я огляделась вокруг, заглянула в боковые аллеи, стараясь увидеть то, что, может быть, скрыто за блеском огней — лишнего полицейского, охранника, солдата, заграждение, — словом, хоть какие-нибудь дополнительные меры предосторожности. Нет, никого и ничего больше не было. Только кучка полицейских и командир-сержант.

Мы медленно тянулись вперед, то останавлива-

ясь то опять трогаясь с места и озаряя светом фар летающих мотыльков. Когда мы проезжали мимо сержанта, я присмотрелась к нему: немолодой коренастый мужчина с раскрасневшимся, немного вспотевшим лицом. Вид у него был спокойный и уверенный.

У ворот нас остановили часовые — двое молодых солдат в хаки военного времени. Кожа у них, как у всех, недавно прибывших из Англии, еще не потеряла свежести, глаза смотрели ясно, на лицах также было написано спокойствие.

За воротами, на Лужайках, стояли еще солдаты: некоторые — такие же молодые, как те двое, еще даже не успевшие загореть, некоторые — постарше, с кожей цвета тикового дерева. Но и те и другие выглядели одинаково невозмутимыми.

Что это — слепота? Сознание того, что ветер посеян, теперь неминуемо грянет буря? Или предвидение — настолько полное, совершенное, что оно способно заглядывать за неисчислимые повседневные дела, предвидение, которое давно уже отметило признаки опасности, дало им верное истолкование и приготовило к худшему; предвидение, которое усматривает в, этом спокойствии лучший способ предотвратить опасность?

Сколько лет уже прошло с тех пор, а я все еще не знаю ответа. Каждая нация вырабатывает свой собственный неповторимый характер, дистиллирует свое собственное сознание. Я видела лица мужчин, выросших в другой стране, воспитанных в иных традициях, и на них не было следов страха; возможно, потому, что эти мужчины загрубели и зачерствели, но, разумеется, не все. В этом я уверена, потому что одного из них я хорошо знала и любила.

Часовой махнул рукой; мы въехали в портик и вылезли из машины. Подоспевший полицейский сел за руль вместо Кита и отвел автомобиль на стоянку. Мы вошли во дворец. Многие, уже прибыли — в зале собралось, наверное, не менее половины приглашенных. Как это обычно бывает в начале приема, все стояли в странно нерешительных позах. Индийцы и европейцы обоих полов. Бенаресские шелка, атласные вечерние платья. Обнаженные руки и плечи, туфли на босую ногу; приоткрытые животы, полуобнаженные груди. Лакированные ногти, бледные ладони и сверкающие, как бриллианты, голубые, зеленые, карие глаза. Драгоценные камни, одинаково выделяющиеся как на белой, так и на смуглой коже, ярко вспыхивающие в свете люстр.

Для танцующих было приглашено два оркестра: один из них предназначался специально для танцевальных вечеров, другой — принадлежал губернатору; в первом оркестре играли маленькие тихие музыканты в поношенных вечерних костюмах, в другом оркестре музыканты были одеты в великолепные алые, шитые золотом мундиры с золотыми галунами и бахромчатыми эполетами, а их барабаны были обтянуты леопардовыми шкурами.

Один из оркестров заиграл, и мы направились в танцевальный зал. Кит, вокруг которого уже успела собраться небольшая компания, шел сияющий, оживленный, как всегда обаятельный, уверенный в себе и непринужденный.

А между тем ветер на улице усиливался, он проникал даже сюда, в этот веселый многолюдный зал, звеня подвесками люстр. Скоро ветер рассеет напряжение, но как только он утихнет, все начнется сначала. Если, конечно, не хлынет дождь — но этого никто не может сказать заранее.

Кто-то — не помню, кто, — пригласил меня танцевать. Играли вальс. Мы закружили по залу. На стенах в тяжелых золоченых рамах висели портреты губернаторов и вице-королей: картины, изображающие битвы и капитуляции;

Клайв[17], Гастингс[18], Плесси[19], Серингапатам[20]... английские лица, история Индии — все это вращалось и вращалось вокруг нас.

Танец кончился, оркестр умолк, мы сери. Кит принес мне бокал чего-то холодного и обжигающего. Заиграл второй оркестр, и снова по паркету заскользили пары. Ветер подул еще сильнее, и вдруг по залу пронесся сильный вихрь. Тяжелые люстры закачались. Слуга кинулся запирать окна, потом двустворчатые резные двери. Я видела, как он вынул шпингалеты, закреплявшие двери в открытом положении, а потом, отшатнувшись, прижался спиной к стене. Двери бешено захлопали. Слуга даже не пробовал их удержать. Я с удивлением смотрела на него, не понимая, что происходит. Двери продолжали неистово стучать. Во мне зашевелился страх. Но не успел еще

---

[17] Примечания: 17

Клайв Роберт (1725–1774) — английский завоеватель Индии, генерал-губернатор Бенгалии.

[18] Примечания: 18

Гастинг Уоррен (1732–1818) — английский завоеватель Индии, первый генерал-губернатор.

[19] Примечания: 19

Плесси (Паласи), — деревня, возле которой 23 июня 1757 года Клайв одержал победу над войсками Сирадж-уд-Доулы.

[20] Примечания: 20

Сериигапатам — город на одноименном острове на реке Кайерй. Город дважды выдержал осаду англичан и был захвачен только в 1799 году.

этот страх разрастись, завладеть мной целиком, не успела я еще оправиться от удивления; как в конце коридора появилась толпа мужчин, решительно направлявшихся к танцевальному залу. Вот они уже у дверей, входят внутрь, заполняют зал. Воздух сотрясается от криков, только я не могу разобрать, что кричат. И нет уже больше времени для раздумий.

Несколько томительно долгих секунд оркестр продолжал играть, а пары, как бы по инерции, — кружиться в танце. Потом музыка стала спотыкаться; последний дребезжащий звук — и она оборвалась. Танцы кончились.

С того места, где я сидела, мне был виден весь танцевальный зал: толпы людей, раскачивающиеся люстры, застывшие в странных позах танцоры, все еще обнимающие своих дам, окружившие их мужчины со строгими непроницаемыми лицами; полицейские в полном обмундировании и в красных тюрбанах, словно посылающих тревожные предупредительные сигналы. Потом свет погас. Осталось только сверкающее видение, запечатлевшееся, помимо моего желания, на сетчатке глаза.

Я по-прежнему неподвижно сидела в безмолвной, как бы колышущейся темноте. Потом словно

спали чары, я вдруг почувствовала, как под ногами торопливо шагающих людей сотрясается пол.

До меня явственно донесся голос Кита:

— Мира! Ты здесь? У тебя все в порядке?

— Да. Все в порядке.

— Еще одна антианглийская демонстрация. — В голосе Кита звенели металлические нотки. — Надо надеяться, что обойдется без насилия.

Брат подошел ближе. Вот его рука нащупала мою. И в тот же миг еще чья-то рука схватила меня за плечо с такой силой, что я чуть было не вскрикнула. Внезапно я услышала хриплый резкий голос.

— Мирабай! Мира, откликнись!

Я сразу узнала, кто это.

— Да, — отозвалась я, сдержав готовый было вырваться крик. — Да, Говинд. Чего ты хочешь? Чего?

— Где она? — Его голос дрожал. — Где Премала?

Кит, прежде чем я успела ответить, холодно, грубо сказал:

— Это тебя не касается. Она моя жена.

— Глупец! Слепой глупец! — Говинд едва не рыдал. — Скажи, где она? Если она твоя жена, то должна быть с тобой! Но ее нет, никогда нет. Где

же она? Ты знаешь? Или тебе наплевать?

Мне пришлось прервать его, я не могла позволить ему говорить таким тоном.

— Ее здесь нет, — сказала я, невольно повышая голос. — Но Кит здесь ни при чем. Она в деревне, ей надо было туда поехать. Мы даже не знали об этом, ждали ее, но она не вернулась.

Стало тихо. Необычайно тихо! В зале стоял невообразимый шум и грохот, но я ничего не слышала. Мы как будто были отгорожены рвом с черной стоячей водой от бушевавших-вокруг страстей и смотрели на все происходящее со стороны, словно это нас не касалось. Между тем наши глаза постепенно привыкли к темноте. Тьма перестала быть непроницаемой завесой и превратилась в некое подобие экрана, на Котором рисовались темные силуэты охваченных суматохой мужчин и женщин, образовывавшие меняющиеся темные узоры. Ощущение было такое, будто мы смотрели в быстро поворачивающийся калейдоскоп, наполненный кусочками черного стекла.

В коридоре появились бледно-желтые круги света: это слуги несли газовые лампы. Внезапное вторжение демонстрантов, их разгон, появление в темноте Говинда и Кита — все это произошло

за какие-то несколько секунд, несколько секунд, которые потребовались па то, чтобы зажечь газовые лампы. Мой смятенный ум отказывался воспринимать действительность, отказывался мириться с неестественностью событий.

Говинд сказал:

— Поехали к ней.

Никто не стал оспаривать его право распоряжаться, не выразил сомнения. Мы должны немедленно уехать. Я встала, Кит все еще держал меня за руку. И я чувствовала на плече цепкие пальцы Говинда, но это было ложное ощущение, потому что Говинд был впереди. Мы шли за ним следом, мимо выстроившихся вдоль стен мужчин, чьи лица были наполовину освещены тусклым светом ламп, наполовину сливались со зловещим мраком. Мне показалось, что на нас смотрят с презрением, хотя и не делают попытки остановить. До самого конца, др этого непредвиденного нелепого конца, они ни на миг не теряли выдержки.

Кто-то_задвинул верхние и нижние шпингалеты, закрепив двери в распахнутом положении, створки уже не хлопали, а только при сильных порывах позвякивали задвижки.

Миновав несколько коридоров; мы оказались

на улице. Сверкала молния. При ее свете я увидела тамаринд; буря выворотила его с корнями, и он упал поперек дороги. Это дерево стояло на обочине; провода с прикрепленными к ним почерневшими лампочками все еще опутывали его ветви. От обнаженных корней исходил запах прилипшей к ним земли. Помню, что я попробовала перешагнуть, через это дерево, но не смогла, потому что запуталась в сари, и Кит перенес меня на руках. Помню, что он меня смотреть под ноги, чтобы не наступить на оголившийся провод… Но это было бесполезно, потому что свет молнии то вспыхивал, то гас, и мы шли, не разбирая дороги.

Помню, что я спрашивала себя: сколько же времени потребуется монтерам на то, чтобы привести все в порядок. Наверное, они провозятся до рассвета, когда никакой надобности в иллюминацию. уже не будет.

Если память мне не изменяет, нам пришлось осмотреть довольно много автомобилей, прежде чем мы нашли свой. Если память мне не изменяет, мы сразу же выехали на шоссе, ведущее в деревню. Но как мы добрались туда, кого встретили по пути, как мы разместились в машине и кто был, за рулем, я не помню. Помню только ветер, неистово бушевавший вокруг машины. Иногда

он дул нам в лоб, и тогда двигатель начинал усиленно гудеть, иногда подгонял нас сзади, и тогда казалось, будто колеса вращаются сами собой.

Но мне запомнилось несколько фраз, произнесенных во время поездки. Полный мучительной тоски голос Говинда: «Зачем она мне лгала? Я десять раз ее переспрашивал, и она уверяла, что никуда сегодня не поедет». Внезапный шквал, потом — короткое затишье, и голос Кита — резкий, ровный и холодный, как камень: «Но ты ей, должно быть, сообщил что-то важное; неужели ты воображал, что после этого она скажет тебе правду?»

Потом пошел дождь, я слышала, как он барабану по крыше машины; и через несколько минут мы оказались в деревне. Я увидела намокшие соломенные крыши, с которых капала вода; увидела поля, беспрерывно освещаемые зарницей, и сквозь редкие деревья, в пляшущем ярком пламени увидела обгоревшие, но еще не рухнувшие останки дома, где когда-то помещалась школа.

Мы выскочили из машины и, не задумываясь над тем, что сделать уже ничего нельзя, кинулись, кик безумные, к горящему зданию. В горячем воздухе клубился едкий дым, который саднил горло и ел глаза. Разлетавшиеся во все стороны

угольки больно жалили кожу. Наконец мы, задыхающиеся, наполовину ослепшие, остановились.

Неподалеку от нас, прямо под дождем, ярко освещенные пламенем, стояли две группы мужчин: горожане и местные жители. Они стояли близко, почти вплотную друг к другу. Среди виднелась согбенная фигура Хижи. Почерневшая, промокшая одежда плотно облегала его тело, а на плечах лежала дерюжка из кокосовой фибры, которую кто-то накинул из жалости. Он стоял на коленях на мокрой земле и молился. Я никогда прежде не видела, чтобы он так молился: руки его были скрещены на груди, ногти впились в плечи, широко раскрытые глаза смотрели пристально, почти не мигая, словно их направляла могучая неумолимая воля. Казалось, отвернуться хоть на миг, прикрыть усталые веки, забыться — значило для него изменить своему долгу.

Видимо, не замечая нас, он продолжал молиться… Я слышала, как он взывает к своему богу; голос его то взмывал над ревом пламени и воем ветра, то снижался до тихого бессвязного бормотания, затем опять слышали ей отчетливые призывы. Вокруг него сгрудились безмолвные крестьяне. Кто-то придерживал его руками, словно опасаясь какой-нибудь безумной выходки,

хотя повода для такого опасения не было. Когда мы подошли, они расступились, пропуская нас, затем снова замкнули круг. Все чего-то ждали. Даже Говинд чего-то ждал. Наконец он подошел к Хики. Глядя на их лица, трудно было сказать, кто из них страдает сильнее.

— Где она? Где Премала? — спросил Говинд хриплым надтреснутым голосом.

Хики тупо посмотрел на него, словно не поняв вопроса, потом глухо ответил:

— У бога — И вновь уставился на пламя.

Мне показалось, что Говинд лишился рассудка. Он шагнул вперед. Лицо его перекосилось, руки потянулись к миссионеру. Но тут подскочил Кит, обхватил его сзади и с такой силой рванул назад, что тот едва устоял на ногах.

— Оставь его! — Кит говорил отрывисто и грубо. — Ты что, тоже сошел с ума? Не видишь разве, он рехнулся?

Очнувшись, Хики отвел глаза от огня. С некоторым изумлением взглянув на Кита, он пробормотал:

— Я не совсем здоров… Скоро приду в себя… Благодарю вас… я… — Хики остановил свой взгляд на Говинде и замолчал. Медленно откачнувшись назад, он сел прямо в жидкую грязь и,

глядя снизу вверх на полное муки лицо Говинда, расхохотался.

У меня было одно желание — зажмурить глаза, заткнуть уши и пуститься бежать, бежать без оглядки, куда угодно, лишь бы ничего больше не видеть и не слышать. Ио ноги словно приросли к земле. Хотелось закричать, но из горла рвался истерический хохот, и я сдержала — крик. Я обвела взглядом мужчин вокруг меня. Лица у некоторых нервно подергивались, но ни один из них не двинулся с места. Мы стояли недвижно, пригвожденные к земле какой-то беспощадной силой. Казалось, будто в наказание за страшное преступление мы осуждены слушать эти дикие звуки, словно идущие из самой преисподней..

Но вот Хики заговорил, то и дело разражаясь смехом, заговорил визгливо, сбивчиво, обращаясь только к Говинду, хотя слышали и все остальные.

— Ты — Говинд, не так ли?.. Я знаю, я тебя видел!.. Ты любил ее, я это тоже знаю, она мне говорила… Ну, так вот — смотри, что она натворила, твоя любовь! Спроси своих людей — вот они! — Он встал на ноги и указал на толпу горожан. Не только его рука, все его тело дрожало. — Они знают!.. Что же ты их не спрашиваешь? Чего

боишься? Спроси!

Я бросилась бежать, преследуемая диким воем. То ли это выл ветер, то ли вопил Хики, — не знаю.

Кит опередил меня. Он подбежал к толпе, собравшейся у хижины, и протиснулся вперед. Я отстала от него всего на несколько шагов, но меня не пропустили. Я пыталась пробиться силой, но тщетно. Тут подоспел Говинд; под его яростным напором толпа раздалась, и я последовала за ним по пятам, пока меня не успели отрезать. Наконец мы вырвались на свободное пространство и оказались под небольшим выступом крыши.

Кит стоял па коленях, крепко прижимая к себе Премалу. Голова его была опущена, лицо скрывали волосы. Премалу я видела совершенно отчетливо и не понимала, почему меня не хотят подпустить к ней. В ней не было ничего пугающего. Может быть, она мертва? Я не могла поверить, что она мертва. Никак не могла. Я смотрела на ее лицо. Она была прекрасна, как всегда. Лоб чист и бледен. Густые смолистые волосы распустились и волной ниспадают на плечи. Почему жизнь так легко оставила ее? Почему разрушился чудесный сплав души и тела? Как сумела душа разорвать все узы, связывавшие ее с телом крепче, чем

стежки хирурга, так что при этом не осталось никаких следов борьбы и страданий? И все же ее лицо было овеяно безмятежным покоем.

Но вот Кит опустил Премалу па землю, пламя полностью осветило ее лицо, и я увидела слегка расширившиеся ноздри и красные набухшие прожилки, просвечивавшие сквозь нежную кожу? То, что я приняла за тень, оказалось огромным багровым кровоподтеком. Я поняла, что Премала боролась с удушьем, боролась за свою жизнь. И тогда я наконец поверила, что она в самом деле мертва.

Кит встал. Он не произнес ни слова — я это знаю, потому что была рядом. С другой стороны от меня стоял Говинд. Первым заговорил он, и в голосе его было столько злобы, что я тотчас очнулась.

— Она любила тебя. Но ты ее никогда не любил, ты даже не знаешь, что такое любовь! Ты не дал ей ничего, даже домашнего очага. Это от тебя она бежала в деревню. Ты ее погубил!

Он смотрел на Кита, только на него одного. Черты его опухшего лица исказились. О, Кит! Неужели ты не видишь, что это лицо выражает не только страсть, не только ненависть, но и всепоглощающее горе? Сколько скорби должно

быть написано на лице мужчины, чтобы вызвать сострадание?

Но Кит ничего не слышал и не видел. Боль, которую он испытывал, — была слишком сильна, а его собственная слишком разгорячена, чтобы он мог замечать страдания других.

— Она помогала строить эту школу, — сказал Кит. — Ты знаешь, какое важное место занимала в ее жизни школа. А ты и твои прихвостни уничтожили школу, а вместе с ней и Премалу. Ты так же виновен в ее смерти, как если бы задушил ее собственными руками. — Замолчав, Кит повернулся к стоявшим с настороженным враждебным видом мужчинам, оглядел их злые, угрожающие лица и, остановив, наконец, взгляд на Говинде, с ненавистно произнес самое ужасное слово, каким только можно оскорбить мужчину.

Кит, видимо, не чувствовал ни малейшего страха; он просто отвернулся и шагнул, не оглядываясь, в темноту. Я не слышала никакого крика, никакого предупреждения, но кинулась к Говинду, крепко, обхватила его обеими руками, прижала к груди с такой силой, что стало слышно, как бешено колотится его сердце.

Потом все кончилось. В темноте раздался слабый стон и сразу потонул в шуме ветра, дождя

и шипения огня. Толпа кинулась бежать, и я — впереди всех.

Кит, мой брат, лежал под дождем, в грязи, освещаемый лишь редкими вспышками молний. Он был без сознания. Я положила его голову к себе на колени и нагнулась, стараясь прикрыть его от дождя. Он пошевелился и приоткрыл глаза; их блеск не могли затуманить даже предсмертные муки. Несколько мгновений он с легким недоумением смотрел на меня, потом узнал и, как мне показалось, хотел коснуться рукой моего лица. Но едва поднявшись, рука его тотчас упала. Он сказал: «Не огорчайся». И улыбнулся. У него не было сил двигаться, но он улыбался.

Я ответила:

— Как я могу не огорчаться!

Мне показалось, что он засмеялся, но, может быть, я ошиблась.

— Ты никогда не умела лгать, — проговорил он.

Потом он умолк и перестал шевелиться, а между тем заведенная пружина его жизни раскручивалась, в самый последний миг он заговорил снова: и вот тогда мне опять представился ее образ — образ золотоволосой девушки, знакомой моего брата, лицо которой я почти забыла.

Я продолжала сидеть, склонившись над Китом и держа его голову на коленях. Кто-то тронул меня за плечо один раз, потом другой, окликнул по имени. Но я не двигалась и не отзывалась. У меня ни на что не было сил.

Внезапно я услышала чей-то плач. Плач становился все громче. Я подняла голову. Совсем недалеко от меня, прислонясь спиной к хижине, сидела удочеренная Премалой девочка. До этого ее там не было.

Я опустила голову Кита на землю. Теперь это был уже не мой брат, а только его бездыханное тело. Я встала и подошла к девочке. Она горько плакала — слишком горько для своих лет. Я взяла ее на руки, и она, испуганная, растерянная, прильнула ко мне теплым комочком.

— Пойдем-ка лучше домой, — сказала я, понимая, однако, что говорю глупость: ни у нее, ни у меня не было дома.

Мне было странно слышать свой собственный голос, странно, что он не изменился. Видимо, его звуки подействовали па девочку успокаивающе. Судорожные всхлипы прекратились; малютка отняла заплаканное личико от, моего плеча.

— Успокойся, моя хорошая! — сказала я. — Успокойся! — Опа засмеялась, хотя слезы еще не

высохли па ее глазах, и потянулась ручонками к огню.

— Смотри, как красиво горит, — сказала я, но самой мне не хотелось глядеть на пламя, и я глядела па девочку. Пламя плясало в ее глазах, играло па ее коже яркими отблесками. И я тоже невольно повернулась в ту сторону.

Школа всё еще была на месте. Меня бросило в дрожь. Господи, да сколько же времени-то прошло? Неужели так мало? Так мало, что остов здания не рухнул, еще держится, еще стоит таким, каким я увидела его в первую минуту? Неужели его останки еще не поглотила бушующая преисподняя?

Я прислонилась к стене. На меня волнами накатывалось головокружение. Если бы не тревога за ребенка, то я, наверно, упала бы. Но я держалась и пристально смотрела на огонь. Слабость моя прошла, как только я заметила, что пожар усилился. Каркас начал прогибаться. Размягчившиеся железные балки качались из стороны сторону, пока не вырвались последние заклепки. На какой-то миг балки словно повисли в воздухе; затем — сначала медленно, потом все быстрее и быстрее — начали рушиться. Раскаленные добела, они с шумом летели вниз, изгибались,

сцеплялись и, соединившись в последнем безумном объятии, все глубже и глубже погружались в лиловое лоно огня.

Я закрыла глаза, не в силах смотреть па это ужасное зрелище. Я чувствовала, как сотрясается земля и набегают, одна за другой мощные воздушные волны, слышала грохот падающих тяжелых предметов, сопровождаемый каким-то странным звуком, который напоминал глубокий продолжительный вздох. Когда я снова открыла глаза, на месте школы лежала бесформенная груда пылающих обломков, над которой летали тучи искр, плясали большие и маленькие языки огня. Казалось, будто в ночи неожиданно расцвели красные, белые, оранжевые и багряные цветы. И все это сверкающее великолепие отражалось в удивленных глазах девочки, которую я держала на руках.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Мама говорила, что никогда не сядет на; самолет, и все же прилетела на похороны. Кажется, ее сопровождал отец, но точно я не помню. Кажется, приехали и родители Премалы, но я не могу сказать с уверенностью. Помню только, что была мама. За одну ночь она очень состарилась, и я не могла се утешить.

Я даже не могла ее обнять. И не потому, что она отстранялась. Просто у меня было такое ощущение, будто мы совершенно чужие люди, которых ничто не связывает. Сконфуженная сознанием своей холодности, я подошла к ней, но она, тотчас разгадав скрытый смысл моего бессвязного бормотания, спокойно сказала:

— Не беспокойся, что я одна… Все люди одиноки. — И, помолчав, добавила: — Когда будешь старше — поймешь.

Старше? Насколько старше? Моя душа уже запорошена пеплом прошлого. Что изменится от того, что пройдет еще сколько-то лет? Я молчала, а мама тихо, как бы про себя, продолжала:

— Да и Китсами был не так уж стар… Не могу

вспомнить, сколько ему было… Молодой еще, совсем молодой.

Я стояла в полном замешательстве. Она вот спокойно рассуждает о Ките, а я и думать о нем не могу без дрожи.

— Рано ему было еще умирать. Верно? Но ведь он был любимцем богов… Я всегда это знала.

Надо же ей что-нибудь ответить. Я собралась с силами и сказала:

— Да, верно. Он был их любимцем.

Пока я не заговорила, мама, кажется, почти не сознавала моего присутствия. Лишь тогда, посмотрев на меня, она ласково заметила:

— Ты так мало мне рассказала… Считаешь, что лучше не говорить?

— Да рассказывать почти не о чем. Он умер мгновенно.

— Так быстро, что ничего не успел сказать?

— Сказал, чтобы я не огорчалась. И позвал…

— Премалу?

— Нет — ответила я и, набравшись решимости, встретила, ее взгляд. — Нет, он позвал тебя.

Не знаю, поверила ли она мне. Надеюсь, что поверила. Да, наверно, поверила.

Ничто ее не удерживало, и она уехала сразу же после похорон, взяв с собой ребенка. Я бы и сама

уехала, да не могла, потому что получила повестку от следователя. Конечно, я бы не посчиталась с этим. Что такое в конце концов повестка? Клочок бумаги, на котором написано, что вам надлежит явиться туда-то и тогда-то и что в случае неявки вы будете наказаны. Угроз я, разумеется, не испугалась, но меня удержал Ричард.

Не помню, что он говорил. Помню только, что я повторяла: «Нет, нет, нет», — кричала: «Почему они не оставят меня в покое?» и «Что еще я могу им сообщить?». Но его голос окружил меня незримой стеной, которую я не могла ни свалить, ни обойти и о которую я з конце концов оперлась. Желание бежать пропало.

Когда» успокоилась, он спросил меня снова, и я ответила «да».

— Это только начало, — сказал он. — Нас еще многое ждет впереди.

Я хотела сказать ему, что знаю, но неожиданно заснула.

Проснулась я в постели, Ричарда. Светящиеся стрелки показывали три. Рассвет еще не начинался, воздух был холодным и влажным, казалось, будто мои руки и ноги покрыты росой. Ривард лежал на спине рядом со мной, я видела его профиль на темном фоне окна. Глаза его

были открыты. Должно быть, я поежилась от холода, потому что он повернулся ко мне, обнял и привлек к себе. Я чувствовала переполнявшую его любовь. Страсти не было, была только всепоглощающая нежность. Я лежала не двигаясь, отдаваясь ласкай. Это были не. те ласки, которые бывают в самом начале любви, и не те ласки, которые бывают потом, а какие-то другие ласки — нежные и кроткие, — придающий любви более глубокий смысл.

Немного погодя я, должно быть, опять погрузилась в сон, а когда проснулась, уже рассвело. Ричард по-прежнему держал меня в объятиях. Он лежал неподвижно; вероятно, всю ночь не смыкал глаз. Почувствовав, что я шевелюсь, он позвал меня.

— Мира? Ты не спишь?

Медленно, медленно я приходила в себя, — и вот, наконец, слезы, которых не могли вызвать ни смерть Премалы и Кита, ни горе мамы, слезы, которые, как мне казалось, навсегда высохли, хлынули потоком из моих глаз, откликаясь на зов нового дня, нового пробуждения.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Итак, я явилась к следователю. В судебном зале, где он меня допрашивал, было много других свидетелей. Вначале я видела перед собой новый, чистый холст, и можно было подумать, что ничего не случилось, ибо никто ни о чем не знает; можно было подумать, что ничто и не могло случиться, кроме того, о чем мы сумеем вспомнить. Но на холст ложился мазок за мазком, и из этих мазков — их недоставало всего несколько — постепенно возникла картина, которую я не хотела видеть снова.

Кит умер от ножевой раны — это я знала. Премала умерла от удушья.

Кроме них, никто не пострадал, — сказал следователь и, подумав, уточнил: «Никто не погиб».

Значит, были и еще пострадавшие. А я и не заметила.

В ночь, когда произошел пожар, — сказал следователь, — в деревню прибыло несколько человек; хотелось бы знать, какова была цель их приезда. Следователь обвел взглядом друзей Говинда, сидевших рядком па скамье, потом посмотрел на

Говинда и потом — на меня.

Говинд давал показания первым. Он поехал в деревню вместе с Китсами и его сестрой, потому что до него дошел слух о том, что на школу готовится нападение.

— Только поэтому?

— Только поэтому.

— Можете ли вы сказать, зачем поехала в деревню Премала, жена Китсами?

— Дрлжно быть, предупредить Хики, — ответил Говинд.

— Кто такой Хики?

— Заведующий школой.

— Ей было известно, что на школу готовится нападений?

— По-видимому... да.

— Она узнала это от вас?

— Но я же и сам-то не знал. Только слышал разговоры.

— Вы сообщили ей об этих разговорах?

— Нет. Вероятно, она сама догадалась. Что-то в мои словах насторожило ее, хотя я и не знаю, что именно. Я только спросил ее, где она будет в тот вечер, хотел убедиться, что она не поедет в деревню. Она сказала, что останется дома. Обещала... — Голос Говинда задрожал и сорвался.

Тишина, стоявшая в переполненной комнате, нарушалась только шелестом бумаг и шорохом одежд.

Тщательно выбирая слова, следователь сказал:

— Вы понимаете, что это не перекрестный допрос. Вы не обязаны давать показаний во вред кому бы то ни было.

Овладев собой, Говинд продолжал:

— Все знали, что ночь предстоит… тревожная. Естественно, я хотел удостовериться в том, что ей ничто, не угрожает.

— И вы?..

Речь следователя струилась непрерывным потоком. Я силилась сосредоточиться, но никак не могла. Слова звучали звонко, как колокол, по их смысл доходил до меня лишь запоздалым эхом, а то и вовсе не доходил. Я долго смотрела на следователя пристальным, немигающим взглядом, потом отвернулась и оглядела зал суда. В заднем ряду сидели мужчины, по виду сильно отливавшиеся от всех остальных; я поняла, что это — жители деревни. Их было шестеро. Почему выбрали именно их, я так и не догадалась. Они сидели плечом к плечу на одной скамье, растерянные и напуганные величественным обликом правосудия. Лишь сельский староста старался

держать себя в руках. По обеим сторонам скамьи стояли полицейские — должно быть, они опасались, как бы кто-нибудь из крестьян не удрал. Повестки повестками, а, видимо, нелегко было заставить этих людей приехать. Крестьяне подходили один за другим к столу, присягали и давали показания. Да, они живут в этой деревне и были там во время пожара. Да, они знают, что убит молодой человек. Потом они его видели и видели нож, торчавший у него в спине. Следователь спрашивал резким тоном, видели ли они, кто метнул этот нож, но они только качали головами: нет, не видели. Один из них рассказывал о пожаре, другой о буре, третий — о том, как было темно, а староста печально проговорил, как бы подводя итог сказанному: «Это была ужасная ночь».

Допрос продолжался. Следователь спросил старосту:

— Вы стояли на улице?

— Да.

— Смотрели на пожар?

— Да.

— Ваши хижины находятся близко от сгоревшей школы?

— Да.

— Они ведь тоже могли загореться?

— Могли.

— Но вы только смотрели на пожар?

Староста смутился и, разведя руками, тихо сказал:

— А что можно было сделать? Ничего.

— И вы ничего не делали.

Последовало молчание. Староста был стар, гораздо старше следователя, и. голова его соображала туго.

— Ничего и не надо было делать, — выговорил он наконец. — Бог послал нам дождь… Его милостью мы спаслись.

— Вы полагали, что вам не грозит никакая другая опасность.

— Какая еще опасность?..

— Предположим, кто-нибудь поджег бы и ваши хижины. Вы и ваши односельчане могли пострадать от насилия.

Старик поднял глаза. Он, видимо, не понял, с какой целью задан этот вопрос, ответил, не задумываясь:

— Такого не могло быть. Разве мы не индийцы?

Зал вдруг оживился, по рядам, словно ртуть, прокатился гул. Все опять зашевелились, зашуршали одеждами. Старосте предложили покинуть

свидетельское место. Начались пререкания, но я ничего не поняла. Когда все стихло, я услышала, что выкликнули-мое имя. Я встала и пошла к тому месту, откуда дают показания. У меня было такое чувство, будто это не я, а кто-то другой.

Следователь был полон сочувствия. Он выразил сожаление, что подвергает меня этой мучительной процедуре, но что поделаешь, такая, уж у него обязанность. Однако он постарается быть максимально кратким и задаст мне всего лишь несколько вопросов. Я сказала, что понимаю, и стала отвечать.

— Да, в тот вечер я была в деревне. Да, я ездила туда, с моим родным братом Китсами и приемным братом Говиндом.

— Можете ли вы объяснить, почему вы вдруг решили ехать туда в такое позднее время?

Я посмотрела на него в растерянности. Как объяснить, что происходило в ту ночь? Как в этом равнодушном зале описать те ужасы, что мы пережили, и выразить наши чувства? Как в спутанном клубке чувств и переживаний отыскать ту единственную нить, которая и нужна суду, — суду, где каждый факт должен быть тщательно отобран и взвешен, прежде чем будет представлен в качестве доказательства?

— Туда поехали мои братья, — сказала я наконец. — Естественно, я поехала вместе с ними.

— Вы слышали или случайно подслушали их разговор?

— Слышала.

— Расскажите, что произошло в деревне?

Мне пришлось взять себя в руки, потому что в голове у меня стало мутиться. Следователь сказал:

— Подтверждаете ли вы, что показания, которые вы давали в полиции, в основном верны?

— Да, верны.

— Вы показали, что ваш брат, незадолго до своей гибели, отошел от группы людей, где находились и вы, и направился к своей машине?

— Я не знаю, где была…

— Ну, в ту сторону, где стояла машина.

— Да.

— Вскоре после этого, точнее — через несколько секунд, услышав крик, вы подбежали вместе с другими к телу брата?

— В ту минуту он был еще жив.

— Но он тут же умер?

— Да.

— И вы не видели, кто бросил нож и убил его?

— Нет, не видела.

Это было все… Меня проводили на мое место. Кто-то принес мне стакан воды, и я залпом осушила его. В зале было душно и тесно. Вентиляторы работали на полную мощность, но окна были занавешены шторами, и воздуха не хватало.

Следователь зачитывал чьи-то показания. Начала я не слышала, но потом, до меня дошло, что это — показания мамы, ее интонации можно было уловить Даже в скупой протокольной записи, которую зачитывали сухим официальным тоном.

Потом раздался голос, который я слышала тогда в деревне и который с тех пор ни разу не звучал в моих ушах, разве что по ночам, во сне. Но это было уже не бессвязное бормотание, не визгливый смех, а тихая, спокойная, почти бесстрастная речь. Наконец, я решилась взглянуть на Хики и чуть было не вскрикнула от неожиданности. Дело не в том, что он выглядел более бледным и худым, чем большинство присутствовавших в зале мужчин; у него всегда было хрупкое сложение, и я знала, чего мне ждать. Не удивило меня и то, что он сильно постарел за это время, потому что я уже видела, как изменилась моя мать. Потрясло меня другое. Казалось, что он умер, и если ему все же удается держаться на ногах, то только благо-

даря сверхчеловеческому усилию воли; тело еще живет, но сердца и души в нем нет, и неизвестно, что на их месте.

Следствие между тем продолжалось.

— Да, я заведовал сожженной школой. Да, я находился там во время пожара.

— В самом помещений?

— Я там живу… жил…Но в момент, когда школа загорелась, я был в клинике…

— Что-вы предприняли, когда узнали о пожаре?

— В деревне же ничего нет — ни… — начал было Хийи, но следователь перебил его — не потому, что испытывал к нему неприязнь, а просто не хотел выслушивать то, что уже известно.

— Что же вы предприняли?

— Я побежал к школе. Почти все здание было охвачено огнем. Я пытался спасти все, что можно. Это было очень нелегкое дело. Потребовалось много, очень много времени, прежде чем… прежде чем…

Следователь резко сказал:

— Разумеется, сначала вы разбудили детей. Они ведь уже спали?

Хики долго смотрел на него, потом бесстрастным тоном ответил:

— В этом не было нужды. Их всех предупредили и заранее вывели из здания.

— Что было дальше?

— Я заходил в школу пять или шесть раз, не помню точно. В последний раз я увидел… увидел Премалу.

Хики задыхался: видно было, что говорить ему очень трудно. Отдышавшись, он продолжал:

— Я не знал, что она приехала в деревню. Не знал, что она в школе. Вероятно, она зашла туда после того, как вывели детей. Никто не знал, что она там.

— Возможно, она искала вас?

— Вполне возможно. Но я ее не искал. Когда я увидел ее, то не поверил своим глазам — думал, что это галлюцинация. Она лежала за дверью. Но дверь никак не открывалась, мне пришлось долго возиться. Иначе я мог бы… я мог бы…

Он запнулся, голос его упал до еле слышного шепота. Следователь мягко спросил:

— Что вы предприняли потом?

— Я поднял ее на руки… — Голос Хики вдруг взметнулся почти до крика. — И вынес на улицу. А потом передал тело ее убийцам!

Зал наполнился гулом голосов, многие вскочили с мест, кто-то громко потребовал тишины.

Адвокаты, поднявшись, старались перекричать остальных. Потом шум утих, волнение улеглось.

Снаружи снова и снова слышалось протяжное кваканье. Я никак не могла понять, в чем дело. Мой ум, как опасливый кот, боялся подойти к истине. Наконец я сообразила, что это лягушачье кваканье. Лягушки появляются вместе с дождями, а дожди уже начались… когда? Три дня назад? Или четыре? Почему я не догадалась сразу?

— Вы говорите, что стояли рядом, когда увидели, как он идет к машине? — Это был уже голос следователя.

— Да.

Теперь я понимала смысл того, что говорили, и стала слушать.

— Можете ли вы сказать, на каком, примерно, расстоянии вы находились от того места?

— Шагах в десяти.

— Это совсем близко.

— Да.

— Вы слышали вскрик?

— Да.

— Но вы не видели, кто бросил в него нож?

Бледными бескровными руками Хики так крепко схватил деревянный барьер перед собой, что, казалось, вот-вот костяшки порвут кожу.

— Да, видел. Это сделал Говинд.

Говинд? Говинд? Не может быть! Ведь я его сама держала, плотно прижимала к себе, даже слышала, как бьется его сердце. Неужели я все это вообразила — вплоть до мельчайших подробностей, до биения его сердца? Как я могла? Как?..

Я встала с места и сказала:

— Нет, это не Говинд. Я держала его обеими руками.

Хики повернулся в мою сторону, его глаза встретились с моими. Мы были в переполненном зале, но мне казалось, будто мы одни. Следователь, зал судебных заседаний, сидевшие в нем люди — весь этот обыкновенный мир, к которому Мы принадлежали, внезапно скрылся из глаз, и мы оказались на некоей ледяной планете— далекой и одинокой, — куда никто не мог за нами последовать.

Хики отвел от меня взгляд и уверенно произнес:

— Вы ошибаетесь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Через три дня после допроса Говинда арестовали по обвинению в убийстве Кита. Но судья отложил слушание дела и потом откладывал еще два раза, пока не. решил, наконец, начать процесс. И тогда Говинда снова взяли под стражу.

Я ходила к нему в тюрьму. Ричард хотел пойти со мной, но я не разрешила. Тюрьма была та самая, где сидела Рощ ан, только Говинд находился в другом здании. От кабинета начальника тюрьмы я машинально хотела повернуть налево, но один из надзирателей (их было двое) остановил меня, показал направо, и с некоторым удивлением спросил:

— Вы здесь уже бывали?

— Да, — ответила я, и подумала: «Но с тех пор прошла целая вечность».

— А вы… — начал было надзиратель, но, заметив, что его товарищ скорчил недовольную гримасу, замолчал.

Мы продолжали свой путь. Надзиратели шли немного впереди, один слева, другой справа. Мои сандалии шлепали по каменному полу, но их

босые ноги ступали мягко, почти бесшумно.

Коридор заканчивался короткой лестницей, за которой виднелся небольшой дворик. Второй надзиратель знаком предложил мне спуститься.

— Отделение для подследственных дальше, — коротко объяснил он.

Пройдя через дворик, мы оказались у входа в низкое, приземистое, как барак, строение с открытой верандой.

Комната, куда мы вошли, была узкой и длинной. Она была рассечена надвое переборкой с вделанной в нее дверью. Мебели никакой не было, кроме нескольких стульев. Надзиратель сказал:

— Подождите здесь.

Я пододвинула стул к перегородке» села. — Перегородка была деревянная, фута в три высотой. От нее до самого потолка была протянута железная сетка. Надзиратель открыл дверь и вошел в нее. С другой стороны комнаты была еще одна дверь. Он отпер ее и исчез. Оставшийся со мной надзиратель откашлялся, собираясь что-то сказать, в это время его товарищ вернулся, и он так ничего и не сказал.

Вместе с надзирателем появился Говинд. Внешне он не изменился, все то же страдающее

выражение. Когда он приблизился, я быстро встала, но между нами была решетка, и я даже не могла коснуться его рукой. Он сказал:

— Как… приятно тебя видеть. Но тебе не следовало сюда приходить.

— Почему? Я хотела повидать тебя.

— Тюрьма — не подходящее место для… для девушек.

— А я не боюсь тюрьмы, — ответила я. И я в самом деле не боялась. Ни капли.

Надзиратель сказал по-английски:

— Говорите по-английски, так приказал сахиб.

До этого мы говорили на нашем родном языке — Говинд редко переходил на английский, если с нами не было Кита. Ну, а теперь его уже никогда не будет.

— У тебя усталый вид. И лицо бледное, — сказал Говинд.

— Не мудрено.

— Уезжай куда-нибудь. Ведь ничто тебя здесь не удерживает…

— А суд?

— Процесс начнется не раньше, чем через месяц. А сейчас поезжай…

Куда? Где я найду успокоение? Нигде. Нигде, пока у меня есть душа. Душа, которая порождает

и спокойствие, и беспокойство, душа, которой мы обязаны и ощущением реальности, и сном, и пробуждением. Без души — нет ничего. Есть только смерть.

Он мягко сказал:

— За меня не бойся. Только один человек свидетельствовал против меня, зато многие подтвердили мою невиновность. В тот вечер в деревне было немало моих товарищей… На суде они повторят свои показания…

Но чего стоят показания сообщников? Виновник-то все же есть, не может не быть, и его надо искать среди членов этой сплоченной группы. Нельзя отрицать очевидное.

Я молчала. Говинд тихо сказал:

— Но даже если… пренебрегут их показаниями, твои им не опровергнуть.

— Но ведь есть еще и Хики. Кому больше поверят в суде?

Он опустил голову, и мы оба задумались. Я невольно потянулась к нему, но тут же вспомнила про решетку. К тому же у каждого из нас за спиной стоял надзиратель. Говинд отрывисто спросил:

— Что думают люди?

Я хотела было ответить: «Не знаю», но когда он

уточнил вопрос: «Верят ли они англичанину?», то поняла, что все-таки знаю; недаром я общалась с людьми, читала, что они пишут, слушала, что они говорят, и наблюдала за выражением их лиц. Все это выработало во мне понимание происходящего. Я даже сама не догадывалась, что способна уверенно судить обо всем.

— Мнения разделились, — ответила я.

Он снова склонил голову, не спрашивая, разделились они на равные или неравные части. Как будто он и сам все знал.

Время свидания истекло. Надзиратель забренчал ключами, выбирая тот, который ему нужен. Через минуту он снова отопрет дверь и выведет через нее Говинда. Вернется он уже один…

Но я еще не могла уйти. Мне необходимо было кое-что выяснить. Я спросила:

— Хики говорит, что я ошибаюсь. Он уверен, что видел, как ты кинул нож. И клянется, что говорит правду, но ведь я тебя держала.

Говинд мягко сказал:

— Ну, конечно. Ты же крепко обхватила меня обеими руками.

Я вышла за ворота тюрьмы, где меня ждал Ричард. Он сидел в машине, положив руки крестнакрест на рулевое колесо. Складной верх был

откинут, и солнечные лучи струились по его рукам, по мягким, как шелк, золотистым прядям, которые темнели у корней. Но загар начал сходить, его руки стали уже бледно-коричневыми, кожа посветлела.

— Ты слишком быстро потерял загар.

— И ты — тоже, — возразил он, взглянув на меня. — Но тут уж ничего не поделаешь.

— Руки у тебя были гораздо бледнее, когда ты приехал. Теперь они никогда уже…

Никогда. Какое емкое слово! Едва его произнесешь, как сразу чувствуешь его силу. Даже если говоришь о пустяках. А если говоришь о любви, то сердце разрывается на части.

— Никогда уже?..

— Никогда уже_не будут прежнего цвета, — докончила я, встрепенувшись.

— А я и не хочу этого.

Мы замолчали. Только шумел мотор и шелестели шины по лужам. Прошлой ночью опять шел дождь. Воздух был свеж, прозрачен, и, преломляясь в нем, солнечный свет сверкал ярким серебром. Из-под колес, переливаясь всеми цветами радуги, летели тучи брызг. Плечи мои приятно обогревало солнце, волосы ласково трепал ветер, а в лицо летели холодные бодрящие капли.

— Хороший денек, — сказала я.

— Слишком хороший, — отозвался Ричард.

Я знала, о чем он думает, так же, как он знал — о чем думаю я. Такой день. жаль проводить в тюрьме. Такой день жаль омрачать грустными мыслями.

Скоро мы приехали домой. Дом Ричарда стал и моим домом. Жизнь упростилась.

Мы вошли внутрь. В комнатах было прохладно и приятно пахло; воздух был напоен ароматом травяных штор и доносившимся из сада запахом влажной земли.

Я села, Ричард расположился рядом.

— Когда все это кончится, — сказал он, — мы возьмем отпуск. Ты хотела бы?

— Но у нас уже был отпуск.

— А будет еще один. — Он обхватил мою голову руками. — У тебя на лице темные тени, их надо согнать. Чтобы они не портили твое лицо.

— Они и так скоро исчезнут. Когда все это кончится.

Когда все это кончится, и истина восторжествует. Истина, которую я знаю, но которую я должна таскать, как жалкое чучело, по судам, чтобы всякий, кто пожелает, мог над ней издеваться. Но ведь есть еще один человек, опровергающий

мою истину и предлагающий взамен свою собственную. Он клянется, что это в самом деле его истина, его, только его, и ничья больше. Стало быть, истину можно разделить на части? Каждый из нас, держась за свою часть, воображает, будто обладает всей истиной. Должно быть, истина одна, только смотрим мы на нее с разных сторон? Но этого не может быть, не может быть!

— Не понимаю Хики, — сказала я наконец. — Он ведет себя как одержимый.

— Это была безумная ночь, — тихо проговорил Ричард. — Люди не только не знали, что делают другие, но даже не отдавали себе отчета в собственных поступках.

— Но он утверждает, что прав. Как это возможно?

— Школа была для него дороже жизни.

Но я никак не могла успокоиться.

— Я держала его обеими руками. Сама не знаю, почему, но я держала его обеими руками и не отпускала. Веришь ли ты мне? Или думаешь, что я лгу?

— Нет, милая, нет, я не думаю, что ты способна лгать.

Разгоняя предгрозовую духоту, опять полил дождь, но не такой, какие бывают во время мус-

сонов, когда небеса вдруг разверзаются, словно ворота шлюзов, а тихий и равномерный.

Я первая нарушила молчание, спросив:

— А Хики ты веришь? — И не успел еще он ответить, добавила: — Ты веришь ему, веришь этому англичанину больше, чем мне?

Это были не мои слова, а слова Говинда, и даже голос мой переменился, когда я их произносила.

Мне вдруг стало так больно, словно я нанесла самой себе рану. Охваченная страхом, я увидела, как кровь медленно отхлынула от его лица; тут мои чувства прорвались, я протянула к нему руки, ничего не видя перед собой, ибо глаза мне застилали слезы.

— Я не то хотела сказать… Это не мои слова… Милый, ты не должен думать…

Ричард обнял меня и стал шепотом утешать, словно маленького ребенка. Он утешал меня до тех пор, пока я не успокоилась. После этого мы сидели тихо, прислушиваясь к шлепанью капель по крыше. А вскоре из наполнившихся до краев сточных канав послышалось громкое журчание и бульканье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Улицы снова кишели народом. Всеобщее замешательство, вызванное убийством Кита, допросами и арестом Говинда, прошло. Теперь все уже знали, что им думать, г. если кто-нибудь и не знал, то ему тут же объясняли, что он должен думать, после чего у него не оставалось никаких сомнений. Каждый раз, идя по улице, вы натыкались на небольшие группы — не больше, чем по пять человек. Если эти люди признавали вас за своего, то говорили громко, а если видели в вас чужака, то понижали голоса, так что вы могли только догадываться, что они обсуждают предстоящий процесс.

Город был полон слухов. Шли беспрестанные разговоры о несправедливости судей, о заговорах, о патриотах, которых сажают за их убеждения, о переполненных тюрьмах. Эхо этих разговоров разносилось по всем улицам, по всем переулкам. Такова цепа, которую приходится платить за ограничение свободы. Вы можете ввести цензуру на все сообщения, запретить газеты, заткнуть людям рты, объявить комендантский час — все

равно в конце концов вы убедитесь, что нельзя помешать людям думать; проделав долгий утомительный путь, вы в, конце концов с огорчением поймете, что сами же выковали против себя новое грозное оружие, еще более опасное, чем правда. Это оружие — слухи, как пожар, распространяющиеся по всему городу.

После того, как вы подавили свободу, отступать уже невозможно. И бесполезно говорить: все обстоит не так, вот, мол, она — правда. Вот, мол, что случилось в деревне, вот что произошло в суде, вот улики, на основании которых арестован Говинд, и вот почему его судят, отчеты, публикуемые в газетах, не содержат ничего, кроме правды. Никто уже ничему не верит. У людей хорошая память, они судят, основываясь на своем личном опыте, хотя и не всегда отдают себе в том отчет, поэтому, бывает, они даже не могут сказать, как и когда они пришли к тому или иному выводу.

На стенах, на заборах, на шатких парапетах в торговых кварталах стали появляться надписи на индийских языках. Иногда их писали прямо на месте мелом или охрой, иногда выводили на бумаге, а потом расклеивали. Прочесть эти надписи можно было только вечером, потому что утром появлялась полиция со швабрами и

лестницами, усердно смывала их или сдирала. Ночами полиция в этих местах не показывалась.

После захода солнца там не оставалось никого, кроме местных жителей. С наступлением сумерек весь район замирал, и на улицах можно было увидеть только полицейских в грузовиках, сменившихся часовых, которые шли парами, а иногда — молодых людей в европейских костюмах, по поручению властей изучавших положение в стране; эти молодые люди могли разобрать надписи только на английском языке. Но когда темнота сгущалась, торговые кварталы, словно плотно сжатые в кулак пальцы, смыкались в одно целое, там не оставалось ни одного постороннего человека — ни полицейского, ни военного, ни англичанина.

Но вот загорались лампионы в витринах магазинов, зажигались газовые фонари, воздух наполнялся запахами горелого масла, керосина и лигроина, и на улицах опять собирались группы и даже толпы людей, которых никто уже не разгонял; появлялись флаги и плакаты с надписями и карикатурами, где Хики изображался не просто лгуном или сумасшедшим, не просто человеком, жаждущим мести, человеком, движимым ненавистью и отчаянием. Словом, не таким, едким

рисовал его мой взбудораженный рассудок, а орудием в руках англичан, орудием, с помощью которого хотят безжалостно уничтожить опасного врага.

А Говинд? Говинд представлялся его защитникам не много выстрадавшим и все еще страдающим человеком, которому угрожает смерть за убийство, преступление, которое, могу в том поклясться, он не мог совершить, а просто — борцом за свободу; что бы там ни говорили на суде, именно за то, что он борется за свободу, англичане и собираются лишить его жизни.

Но если Говинд невиновен, то кто же виновен? Кому до этого дело?

Англичане следовали другой тактике: они организовали сбор средств в пользу Хики. Ни плакатов, ни транспарантов. Ничего такого, что показывало бы, кому они верят и кому сочувствуют; только этот денежный фонд. И тут не имело значения, что почти никто из жертвователей не слыхал прежде имени Хики, а тем более не знал его в лицо, если не считать мелких чиновников, которым, приходилось ездить по деревням. Но известно об этом фонде было только посетителям клуба.

В клубе можно было услышать только одну-две

сказанных мимоходом фразы; здесь англичане чувствовали себя непринужденнее, чем где бы то ни было; стены клуба были для них бастионами свободы, где они могли оставаться самими собой, и куда индийцы могли проникнуть только, пройдя через мелкое сито проверки, так что они не представляли никакой опасности. Итак, в клубе можно было услышать произнесенный рассудительным тоном вопрос: «Ну, зачем ему лгать?» Или осторожно высказанное мнение: «Не думаю, что этот человек лжет». Тот, кто это говорил, смотрел на собеседника ясными, спокойными глазами, которые, казалось, никогда не видели крови, кроме как в обычной артиллерийской перестрелке с невидимым противником. Как будто на свете не существует ни насилия, ни зла, ни ненависти.

А зачем лгать мне? Этим не поинтересовался никто, за исключением одного человека, которому платили деньги за то, чтобы он задавал такие вопросы.

Дни шли за днями, пыли было все больше, улицы кишели встревоженными людьми. Тревога все усиливалась, пока не стала невыносимой… И потом вдруг наступило спокойствие. Опустели улицы, закрылись железные ставни магазинов,

обезлюдела центральная площадь. Долгое время не знавшие покоя полицейские вдруг оказались без дела; они стояли на своих постах, лениво помахивая дубинками, войска были выведены. Словно клещами, обхватила город тишина.

За день до начала процесса ко мне пришел адвокат Рошан, который занимался также и делом Говинда. Он сказал, что бояться мне нечего, нужно только говорить правду. Я ответила, что ничего другого не делала и не намерена делать. Продолжая разговор, он посоветовал мне держать себя в руках и не давать сбить с толку юридическими тонкостями — об этом, он сказал, меня специально просила его клиентка Рошан. Говинд — второй его клиент. Я обещала послушаться его совета. На прощание он еще порекомендовал мне не бросать вызова властям. Я так и не поняла, что Он имел в виду. Мне кажется, он спутал меня с Рошан.

В ту ночь я спала плохо: снова стало душно, так душно, что, казалось, будто я лежу, закрывшись с головой одеялом. Утро не принесло облегчения, но вдалеке показались грозовые тучи.

Ричард повез меня в суд на своей машине. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу и молчали. Шагах в двухстах — трехстах от здания

суда стояли безмолвные толпы. Полицейский у ворот козырнул, пропуская нас, и мы подкатили к подъезду. Потом вместе вошли внутрь.

В зале собралось довольно много людей — как индийцев, так и европейцев. Я сразу заметила Рошан — она всегда выделялась в любой толпе. Немного погодя ко мне подошел служитель.

— Вот сюда, — вежливо сказал он. Растерявшись, я еще крепче сжала руку Ричарда, но служитель, с любопытством посмотрев на меня, уже громче повторил:

— Прошу вас, сюда!

Только тогда я выпустила руку Ричарда и последовала за этим человеком.

Я оказалась в просторном зале с высокими потолками, где, кроме меня, было всего двое судебных чиновников. Далее была приемная, где томились в ожидании какие-то люди, я слышала, как они шаркают ногами, но не могла различить их лиц, потому что дверные стекла были матовыми. Я присела на кожаное кресло и огляделась. Помещение, где я находилась, напоминало читальный зал, только там не было ни книг, ни газет. Стены были обшиты высокими, почти до потолка, деревянными панелями. В одной из стен были окна, но они выходили в тот самый коридор,

по которому я шла сюда. Напротив находилась дверь, открывавшаяся в узкий проход, который, по-видимому, вел в зал суда. Во всех четырех стенах, над панельной обшивкой, зияли открытые вентиляционные люки. Три из них отражали своими гладкими, как стекло, крышками этот тихий безлюдный зал, а четвертый — толпу людей на улице. Я стала внимательно присматриваться» хотя ничего интересного не было видно. Некоторые — я обратила на это внимание— стояли с прикрытыми головами: должно быть, солнце уже сильно припекало. Когда я выходила из дому, оно светило ярко, но еще не жгло. С тех пор миновал целый час. Я беспокойно заворочалась в кресле. Потом отвела взгляд от часов, и нетерпение прошло, я снова потеряла счет времени.

Ряды людей, отражавшихся в крышке люка, чуть-чуть колыхались, это было неизбежно при таком скоплении. Должно быть, утомительно стоять так долго под солнцем, подумала я и вдруг почувствовала усталость в ногах. Потом толпа подалась вперед, и я услышала возмущенный гул голосов. Наверно, появился Хики, — подумала я. Потом наступило долгое молчание, которое было прервано ликующими криками. Это, несомненно, приветствовали Говинда. Я посмотрела на

часы: без четверти десять. Суд начинается ровно в десять.

После этого, как мне показалось, не произошло ничего, заслуживающего внимания. Я слышала шаги в приемной и в коридоре, но никого не видела. По коридору проходили пары. Видимо, заключенные и их конвоиры. Но Говинд должен быть на скамье подсудимых. Тогда, значит, это свидетели. Но ведь свидетелей не конвоируют. Да, но сопровождать-то их надо, иначе они могут заблудиться.

Время от времени я смутно слышала, как чьи-то фамилии выкликают снова и снова, точно на молебствии. Сколько же, интересно, раз? Досчитав до двадцати, я оставила это занятие. Неужели столько свидетелей? Вот уж не представляла себе, что их так много. Я воображала, что для решения дела достаточно решить вопрос, кто прав: Хики или я. Но я не учла, что суду потребуются и другие свидетельства, — например, показания полицейских, заключение медицинской экспертизы.

Потом объявили перерыв на обед. Мне не хотелось есть, и даже казалось, что я не смогу ничего взять в рот, пока все не кончится. Но ведь суд может продлиться дня три, а то и целую неделю. Ну, и что же? Потерплю три дня или даже неделю.

Странно, что разбирательство дела прерывают ради обеда!

После того, как перерыв кончился, я рассеянно гадала о том, что происходит в зале суда. Однако настоящего, живого интереса я не испытывала — все во мне застыло. Но я даже радовалась, что мои чувства притуплены. Откуда-то издалека донеслось имя Хики, и я снова почувствовала, как мой ум докапывается до истины. Не с лихорадочной поспешностью, а осторожно, как это делает ребенок, когда выдергивает лепестки. «Лжец-безумец-мститель-обманщик; лжец-безумец…»

Наконец, выкликнули и мое имя. Вечер был уже близок. Я вошла в зал суда и поднялась на свидетельское место. Дала присягу с таким чувством, будто проделывала все это уже много раз. Справа от меня, лицом к судье, на скамье подсудимых сидел Говинд. Вид у него был усталый, но не более усталый, чем у большинства присутствующих. Потом я перевела взгляд на Рошан. Она была в своем обычном домотканом сари сероватого цвета, в волосах у нее виднелись цветы желтого жасмина. Затем я заметила в корреспондентской ложе Мохуна. И наконец увидела Ричарда. Он сидел прямо за группой защитников и адвокатов, отделенный от меня всей шириной зала. Только

Хики не было видно; где он, еще в суде или ушел? Но куда он может уйти? Найдется ли дом, готовый приютить его, как он приютил бездомных детей?

Голос допрашивавшего меня человека стал резче: очевидно, я отвечала недостаточно быстро. Но в вопросах не было подвохов; меня уже предупредили, что подвохи начнутся потом, во время перекрестного допроса.

— Вы знакомы с мистером Хики, заведующим школой?

— Да.

— Вы показали, что видели мистера Хики на пожаре и что он молился?

— Да. Молился.

— Он заметил вас?

— Не могу сказать.

— Не можете ли вы объяснить суду, почему?

— У него был такой вид… будто он не в своем уме. Он посмотрел на меня, но, кажется, не узнал.

По залу прокатился приглушенный гул, потом опять стало тихо. Защитник продолжал допрос:

— Вы очень любили своего брата?

— Да.

— И не стали бы выгораживать его убийцу?

— Нет, не стала бы.

— Кто бы он ни был?

— Кто бы он ни был, не стала бы.

— Вспомните о тех нескольким мгновениях, когда брат повернулся и пошел к машине. Можете ли вы сказать суду, что вы тогда предприняли?

Анестезия начала проходить, боль возвращалась. Но сделать я ничего не могла, только сказала:

— Я обхватила Говинда руками и крепко держала.

— Почему вы так поступили?

— Хотела помешать ему сделать то, о чем он потом бы сожалел.

— Поэтому вы его и держали?

— Да.

— Мог ли подсудимый сделать какое-либо движение, так чтобы вы об этом ничего не знали?

— Нет, не мог.

— Вы уверены, что?..

— Он даже не пошевельнулся, — перебила я. — Что бы ни утверждал Хики, что бы ему ни показалось, Говинд даже не пошевельнулся.

Защитник сказал:

— Позвольте мне закончить допрос…

Но ему не дали кончить: завязался какой-то юридический спор, в который вмешался судья.

Передо мной стоял стакан с теплой, неприятной на вкус водой. Я сделала несколько глотков. Даже простая публика в изобилии имела графины и стаканы. Такая мера предосторожности была необходима — в переполненном зале стояла нестерпимая духота.

Публика примерно наполовину состояла из индийцев, наполовину — из европейцев. Строгой границы между теми и другими не было — среди розоватых лиц попадались коричневые, а среди черных голов — белокурые. И все же в большинстве случаев индийцы сидели с индийцами, а европейцы — с европейцами. Присутствовало даже несколько англичанок, хотя обычно в такую жару они предпочитали сидеть дома. Страшна не сама жара, а то ощущение тяжести и сырости, которое хочется стряхнуть с себя, хотя это и невозможно сделать.

Вентиляционные люки, видневшиеся во всех четырех стенах под сводчатыми потолками, были открыты; шнуры, с помощью которых их открывали, заканчивались аккуратно завязанными петлями. Треугольные пластины пониже были повернуты так, чтобы, с одной стороны, не мешать доступу воздуха, а с другой — затенять помещение от солнца. Снизу их алюминиевые

поверхности были почти незаметны. Но с улицы они казались блестящими, словно рыбья чешуя. Странно, что я вспомнила об этом только теперь; в то время я их, казалось, даже не заметила.

Допрос возобновился. Я отвечала на вопросы почти машинально, в большинстве случаев ограничиваясь словами «да» или «нет». И радовалась, что от меня не требуют большего, хотя понимала, что защитник поступает так в интересах Говинда, а не из уважения ко мне. Меня только удивляло, почему мне не дают возможности сразу рассказать все, что я знаю, вместо того, чтобы вытягивать из меня необходимые сведения маленькими порциями. Впрочем, защитник, очевидно, знал, что делает.

Но вот вопросы защитника кончились, сейчас начнется перекрестный допрос. Я должна соблюдать выдержку, тщательно обдумывать ответы. Бояться мне нечего. Но я боялась, боялась этого человека, который уже поднялся со своего места и сейчас начнет меня допрашивать, стараясь доказать с моей помощью, что Говинд виновен в убийстве. Я боялась, как боятся люди, которые не верят, что черное можно выдать за белое, но которых люди опытные убедили, что это вполне возможно.

Однако и в манере судебного обвинителя не было ничего пугающего, на его вопросы я тоже должна была отвечать односложными «да» или «нет». К тому же большинство вопросов мне уже задавали раньше. Но потом характер вопросов начал постепенно меняться, вопросы перестали быть такими простыми, как вначале.

— Вы заявили, что любили своего брата, не так ли?

— Да.

— Подсудимый — тоже ваш брат?

— Мой приемный брат.

— Вы считаете его своим братом?

— Да.

— Разумеется, вы и его очень любите?

— Разумеется.

— Значит, вы были бы огорчены, если бы с ним случилась какая-нибудь беда?

Я вся дрожала. Судьи безмолвствовали. Я сказала.

— Если б он был виновен, то я бы не…

— Прошу вас ответить на мой вопрос.

— Да.

Все чувства мои обострились. Я видела каждую мелочь с такой же ясностью, как если бы передо мной лежало клише с четко протравленным

рисунком.

— Что вы скажете об отношениях вашего брата с обвиняемым?

— Они были братья.

— Можете ли вы утверждать, что их отношения были такими, какие обычно складываются между братьями?

Я злобно смотрела на него и молчала. Чего он от меня добивается? Что я могу сказать? Говинд, родной, что ты имел против Кита еще до того, задолго до того, как между вами встала Премала? Неужели я своими руками надену тебе на шею петлю? Их ведь много здесь, этих петель, вот они — висят на стенках, вокруг тебя… вокруг тебя… Тут я взяла себя в руки. Это же шнуры от вентиляционных люков. Я подняла голову и увидела на пластинах отражение стоявших на улице людей. Они окружали здание, они напирали на него со всех сторон, и я как будто чувствовала на себе их могучий напор!

Обвинитель сказал:

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Не знаю, — сказала я, — какие отношения между братьями считаются обычными. Говинда усыновили, а Кит много лет прожил в Англии.

— Неужели вам неизвестно, — в голосе обви-

нителя зазвучали нетерпеливые нотки, — что отношения между ними были натянутыми? Вашего брата ожидала блестящая карьера, а обвиняемый нигде не служил. Одного этого достаточно, чтобы между ними сложились натянутые отношения.

Я ответила с гневом, которого не могла сдержать:

— Мой брат — человек очень одаренный! Он затмевал всех, не только Говинда. Отношения между ними испортились не поэтому.

— Значит, была другая причина!

— Нет! — крикнула я. — Никакой другой причины не было.

— Но вы только что сами подтвердили, что отношения между ними были натянутые.

— Я этого не говорила. Я имела в виду другое.

— Может быть, вы объясните, что имели в виду?

Выдержка и еще раз выдержка. Стоит только расслабиться, и твои внутренности превратятся в жидкое месиво, в котором растворится твоя жизнь, и тогда хирурги, обступившие тебя со всех сторон, беспомощно разведут руками и скажут: «Она не в состоянии бороться. Потеряла волю к жизни». Нельзя забывать, что на карту поставле-

на не моя жизнь… Я сказала:

— Я имела в виду, что между ними существовали разногласия. Потому что Говинд — патриот своей страны, а Китсами им не был.

— А я считаю, что в основе этих разногласий лежит нечто более важное, — ответил обвинитель. — Подсудимый, несомненно, любил невестку, и кроме того…

Кто ему об этом сказал? Знали только мы четверо, и из этих четверых двое уже мертвы. Я смотрела на него в растерянности. Но тут меня осенило: ведь сама Премала и рассказала Хики, а он потом кричал об этом и нам и крестьянам. Но крестьяне не понимают по-английски; значит, обвинитель узнал об этом от Хики…

— Премалу любила вся наша семья, не только Говинд. Ее нельзя было не любить, — сказала я.

— Но есть разница между любовью родственников и любовью обвиняемого к невестке.

— Если вы намекаете, что они были любовниками, то ошибаетесь, — возразила я. — Премала никогда не допустила бы такого.

Наступила короткая передышка. Я надеялась, что он скоро кончит допрос, потому что стала уже терять ощущение реальности. Правда, глаза мои не утратили зоркости. Они отмечали каждую

мелочь с почти неестественной ясностью, но у меня было такое впечатление, будто я смотрю на искусно разрисованный задник в театре, который колышется каждый раз, когда кто-нибудь проходит поблизости.

Должно быть, день приближался к концу, потому что публика проявляла признаки нервозности. Двери зала были закрыты, окна находились слишком высоко над полом, но откинутые крышки вентиляционных люков позволяли наблюдать за нетерпеливо волнующейся снаружи толпой. Ее непрестанное движение неудержимо привлекало к себе взгляд.

— Вы здоровы?

Я слышала голос, но не узнавала его.

— Да, здорова.

Голос сказал:

— Возвращаясь к…

Значит, это обвинитель. Странно, что он интересуется моим здоровьем, ведь его вопросы продиктованы рассчитанной жестокостью.

— Да, — сказала я. — Все, что я сообщила, — правда. Я обхватила Говинда руками.

— Чтобы он не мог совершить какой-нибудь… опрометчивый поступок?

— Вероятно, да, я не могу сказать точно.

— Как говорят свидетели, это была дикая, безумная ночь.

— Да.

— Следовательно, вы можете ошибаться, полагая, что схватили обвиняемого до того, как упал ваш брат.

— Я не ошибаюсь.

— Можно предположить, что вы в самом деле хотели удержать обвиняемого, но было уже поздно.

— Это неверно.

Он сказал:

— Имеется свидетельское показание о том, что обвиняемый вытащил нож и кинул в вашего брата.

— Это ложь.

— Я утверждаю, что показания этого очевидца верны, а вот ваши показания суду — ложны.

— Я не лгу, — сказала я.

Но ведь я уже лгала. Солгала своей матери, и она мне поварила. Я задрожала. И почему эта мысль пришла мне в голову сейчас, почему меня охватили эти мучительные сомнения? Сейчас, когда мне более всего нужна уверенность. Но нет, я не лгу, нет. Только могущество этого человека, ужасное могущество англичан, от имени кото-

рых он выступает, заставляет меня сомневаться в своей правоте. Не зря меня предупреждали. Я вдруг почувствовала, что ненавижу его.

Я знала любовь и страх, а теперь познала и ненависть. Темная волна захлестнула меня с головой, подхватила и понесла. Я была не в силах противостоять ее напору, но испытывала не чувство покорности, а ярость. Повернуться бы сейчас к нему лицом и гневно крикнуть во весь голос: «Говинд невиновен! Я уже говорила вам это. Но ведь вам наплевать на истину! Вы не верите мне, не хотите верить. Вы хотите уничтожить его и уничтожите, что бы я ни сказала». Но в этот миг я заметила, что Ричард пошевелился. Он смотрел на меня внимательным, спокойным взглядом. Я пришла в себя, чувство ненависти исчезло, а вместе с ним — страх и ярость.

Я повторила громко и уверенно.

— Я не лгу. Говинд не мог ничего сделать, он…

Но я не закончила своей фразы. Раздался чей-то нечленораздельный крик, и в глубине зала поднялся какой-то человек. Это был Хики. Не успели его остановить, не успели даже удивленные зрители понять, что происходит, как он выбрался в проход и, увернувшись от пытавшихся задержать его служащих, бросился бежать вперед. Опра-

вившись от растерянности, двое полицейских, которые стояли у главного входа, попробовали его перехватить. Но Хики оттолкнул их и продолжал бежать до тех пор, пока не уперся в барьер, ограждавший скамью подсудимых. Там он остановился, задыхающийся, растрепанный, потом завопил:

— Говинд виновен!

Отдышавшись, он снова завопил тем же леденящим кровь голосом, каким кричал в ту самую ночь:

— Виновен, виновен, виновен!

А с улицы, словно чудовищное искаженное эхо, донесся столь же неистовый, ответный вопль:

— Невиновен!

В этом раскатистом могучем крике сливались тысячи голосов убежденных в своей правоте людей. Заглушить его было нельзя. И все же один человек попытался это сделать. Громким голосом он провозгласил:

— Освободите зал суда.

Но освободить зал было невозможно, люди на улице окружили здание и напирали на него со всех сторон. Они еще не появились, но их присутствие уже чувствовалось; вы словно ощущали их массу, их мощь, ощущали давление воздуха,

двигавшегося стеной перед ними… Вот они уже на лестнице, их босые ноги шаркают по каменным ступеням, и все скандируют одно и то же слово, сотрясающее воздух, словно дикий барабанный вой:

— Не-ви-но-вен, не-ви-но-вен, не-ви-но-вен.

Те, кто находился внутри, стояли в ожидании. Ничего другого им и не оставалось. На улице были полицейские, вооруженные дубинками со стальными наконечниками. Скоро им прикажут пустить эти дубинки в ход, и они собьют с ног несколько людей. Но прилив гигантского людского моря не остановить. Тогда срочно вызовут войска. Прибудут солдаты, вооруженные ружьями с соответствующим комплектом боеприпасов. Стрелять им, конечно, разрешат только для восстановления порядка. Но порядка теперь уже не будет, как не будет и закона — будет только так называемый закон военного времени. Низвергнутое с пьедестала правосудие утратит свое могущество и уже не сможет подняться над всякими посторонними соображениями; обе стороны будут раздирать его на части, пока оно не превратится в кровавую пародию на самое себя. К тому времени оно даже приобретет два разных значения, два названия, каждое из которых будет

служить прикрытием для новых эксцессов.

Однако войска еще не прибыли, и ничто не стояло на пути людского моря. У входа произошла короткая заминка, но потом тяжелые тиковые двери подались, сорвались с петель, и люди ринулись во все девять проходов, заполняя зал суда. Только теперь это были уже не просто отдельные люди, это было единое целое— охваченная одним порывом, могучая, торжествующая толпа. Оказавшись в зале суда, толпа остановилась. Руководителя у нее не было, и потому ее движения напоминали движения робота, управляемого некой мощной внутренней силой; потом она двинулась на Хики.

Миссионер попятился к столу судьи. Безумие, которым он был до сих пор одержим, покинуло его. Он стоял неподвижно, бледный, но не бледнее обычного. Вокруг него кольцом выстроились англичане; лица их не выражали страха, но были уже омрачены тенью жестокости, которую проявляют англичане, когда видят, что приличия отброшены, что правилами честной игры пренебрегли; истинных причин они, разумеется, не понимают и объясняют происходящее несдержанностью экспансивной расы, однако это, по их мнению, не может служить оправданием.

Но вот черная бушующая лавина сомкнулась вокруг горсточки непоколебимых в своей решимости англичан, среди которых стоял Хики. Полы его миссионерской мантии развевались, как бы стараясь убедить всех, что он, Хики, не их ставленник, что он не хочет быть их ставленником, но достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы понять, чей он ставленник.

Я отвернулась, не желая видеть, как погибнет этот крохотный островок. Да, возможно, эти люди храбры и благородны, они готовы умереть за свои высокие принципы, и будут защищать Хики до конца, потому что верят его слову, будут бороться за торжество правосудия даже перед лицом разъяренной толпы. Пусть все это так, но скоро островок исчезнет в темных бурлящих волнах, ибо между ними нет взаимопонимания.

Но тут на сцену выступила Рошан. Она поднялась на скамью подсудимых, где все еще находился Говинд, и что-то закричала. Толпа повернула в другую сторону, под ее напором барьер разлетелся, ограждение вокруг скамьи подсудимых сломалось, словно спичечный коробок под каблуком. Говинд свободен! Толпа сгрудилась вокруг него с радостным торжествующим воем. Мы освободили Говинда, освободили невинного

человека и теперь уведем его с собой, — родная страна укроет его и будет укрывать до тех пор, пока не обретет свободу. И такой день настанет. Непременно настанет! Толпа повторяла эти слова, как припев песни, она была счастлива, упоена своим могуществом; быстрая и легкая победа успела остудить ее гнев.

Потом началось триумфальное шествие, и Говинд шел впереди, шел потому, что не мог поступить иначе. Но лицо его было пепельно-серым: он мог бы легко избежать ареста, вряд ли кто-нибудь узнал бы, где он скрывается, а если бы и узнал, то никому бы не сказал, однако он предпочел предстать перед судом; предпочел довериться правосудию. Он знал, что ему надо доказать свою невиновность перед всеми. Ну, а теперь? Теперь он уже никогда не сможет доказать свою невиновность. После всего, что произошло в эти дни, ему уже нельзя возвращаться в суд. И хотя двери нашего дома будут всегда для него открыты, он не осмелится постучаться. Судьба осиротила его дважды. Он сам, звено за звеном, сковал себе цепи. Что бы там ни говорили люди, он никогда не будет свободен. Он знал это так же, как я, и поэтому шел с ними.

Скоро пойду и я. Как только вся толпа окажется

снаружи, я последую за ней. Ричард же останется. И тут не надо принимать никаких решений: он знает, что не может пойти со мной, а я знаю, что не могу остаться. Итак, мы сейчас расстанемся. Судьба наградила нас щедрым даром; его великолепие украсило и обогатило всю нашу жизнь. Этого никто и никогда у нас не отнимет. Мы познали любовь, и что бы ни случилось, ее сладость навсегда сохранится в нашей памяти. Мы долго пили из кубка счастья, — кубка, который не каждому дано хотя бы подержать в руках. Пора поставить его и уйти.

Уйти? Оставить любимого и уйти с этими людьми? Что они для меня значат, что могут значить по сравнению с тем, кого я люблю? Но они мои, эти люди. А у Ричарда — свои. Стало быть, слова «твой народ» и «мой народ» все же кое-что значат? Может быть, они приобретают реальную значимость от бесконечного повторения? «Пойми же, они для тебя ничто! Ничто — кричало мое сердце. — Если ты сейчас уйдешь с ними, жизнь лишится для тебя всякого смысла! Но в следующий же миг этот голос безумия (или, наоборот, благоразумия?) умолк, и я поняла, что уйду, хотя Ричард останется.

Другого выхода у нас нет, силы, тянущие нас в

разные стороны необоримы.

Так ли уж это важно? — подумала я. Через сто лет никто и не вспомнит обо всем этом. И все же сердце мое плакало в безмолвном отчаянии. Так ли уж важно для вселенной, если появится новый мир или погаснет звезда? Так ли уж важно для мира, если где-то погибнет человек или разобьется чье-либо сердце?

Снаружи поднялся ветер. Рыжеватая пыль, взвихренная тысячью ног, ворвалась в зал суда, и я наконец тронулась в путь.

INFO

7—3–4/217—71

Маркандайя, Камала. Ярость в сердце [Текст]: Роман / Перевод с англ. К. Чугунова; [Предисл. Н. Демуровой]; [Ил.: Л. Поддубовская]. — Москва: Худож. лит., 1971. - 214 с.: ил.; 21 см. — (Зарубежный роман XX века).

Камала Маркандайя
ЯРОСТЬ В СЕРДЦЕ

Редактор Л. *Ибрагимов*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *Г. Лысенкова*
Корректор *Т. Кибардина*

Сдано в. набор 26/1 1971 г. Подписано к печати 27/IV 1971 г. Бумага типографская № 2. Формат 84x108 1/32. Печ. л. 6,75. Усл. печ. л. 11,34. Уч. изд. л. 11,47. Заказ № 984. Тираж 50 000 экз. Цена 80 коп.

Издательство «Художественная лите-

ратура»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц типографии имени Володарского в Ленинградской типографии № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3.

……

FB2 — mefysto, 2023